

Евгений Маурин

АДЕЛЬ

ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ АДЕЛИ ГЮС



Евгений Маурин

Адель. Звезда и смерть Адели Гюс

«Седьмая книга»

1899

Маурин Е. И.

Адель. Звезда и смерть Адели Гюс / Е. И. Маурин — «Седьмая книга», 1899

Исключительный драматический талант и не менее исключительное распутство – именно таким сочетанием природа щедро наделила полную приключений жизнь Адели Гюс. Наполеон Бонапарт и Екатерина Великая, граф Григорий Орлов и князь Григорий Потемкин, король Швеции Густав III и повелитель Дании Христиан VII, целый легион других блистательных имен отметился в судьбе парижской примы, вспыхнувшей однажды одинокой и неповторимой звездой на мрачном небосклоне ушедшей легендарной эпохи.

© Маурин Е. И., 1899

© Седьмая книга, 1899

Содержание

Часть 1. Могильный цветок	5
Глава 1	5
Глава 2	21
Глава 3	40
Часть 2. Возлюбленная фаворита	57
Глава 1	57
Глава 2	63
Глава 3	70
Глава 4	78
Глава 5	84
Глава 6	94
Глава 7	101
Глава 8	108
Конец ознакомительного фрагмента.	113

Евгений Маурин

Адель. Звезда и смерть Адели Гюс

Часть 1. Могильный цветок

Глава 1

Я, Гаспар Тибо Лебеф, пишу эти воспоминания в назидание молодому поколению. Я стар, много видел, много пережил, перестрадал, и теперь смерть так близко витает около меня, что по временам я даже слышу змеиное шуршание ее ласковых крыльев. Что же, я с тихой радостью жду свою последнюю гостью: в девяносто два года жизнь представляется далеко не таким благом, как в шестнадцать.

И одно только удерживает меня, заставляет цепляться за остаток дней. Ну, хорошо! Я умру – туда мне и дорога, одинокому, запоздавшему путнику; но ведь вместе со мною умрет все пережитое, вместе со мною истлеет жизненный опыт, доставшийся такой тяжелой ценой!

Да, много блестящих, величественных и ужасных картин прошло перед моими глазами. Безудержная роскошь Людовика XV, трагедия Людовика XVI, пострадавшего за грехи предков, дни террора и безумия, искрометная карьера Наполеона, его слава и падение, неистовство «союзников», явившихся восстанавливать чуждых и им, и нам Бурбонов, июльская революция – всему этому был я свидетелем. А Екатерина II, Густав III, Христиан VII, блеск их дворов, пышность их жизни!

Но не в этих полных суетного тщеславия картинах заключено то, что мне хотелось бы передать потомству, что еще приковывает меня к жизни. Моя душа уже давно мертва, и не прельщают ее образы земного величия. Все – прах и суета, все – обманная мишура... Нет, моя личная печальная судьба да послужит молодежи предостережением, и о ней-то я и хочу рассказать. За краткие минуты чувственного наслаждения я поплатился всей жизнью; неосторожная, преступная клятва сделала меня рабом разнузданной женщины, той самой, что подобно могильному цветку пышно разрослась на гнойнике монархии. И вот что я теперь!.. Труп, обреченный одновременно и на загробные муки, и на терзания земной жизни.

В назидание молодому поколению я, Гаспар Тибо Лебеф, расскажу, как это случилось и что из этого произошло. Вся моя жизнь, тесно связанная с жизнью злосчастной Аделаиды Гюс, пройдет перед глазами читателя. По большей части прошлое живо стоит перед моими глазами, но да простится мне, если кое-что затуманилось в памяти. Я стар, могу спутаться в мелких деталях, фактах и числах. Что за беда, если бесспорным и верным останется тот вывод, ради которого я и предпринял эту непосильную в моем возрасте работу?

Итак, с Богом!.. Впрочем, сначала еще одна оговорка, читатель: многое из того, о чем я расскажу здесь в последовательном порядке, стало мне известно из сообщений других лиц, и иногда я узнавал о них только через несколько лет после происшедшего. Все равно, ради удобства воспоминаний и связности рассказа, я буду описывать события не в том порядке, как они мне раскрывались, а как они происходили на самом деле, и связывать лично виденное с тем, что узнал впоследствии.

Однако все оговорки да оговорки! Вот что значит старость: бродишь вокруг да около и никак не приступишь к делу! Так с Богом! Прими, о юный читатель, эту правдивую исповедь наболевшего сердца и извлеки из нее тот урок, которого так недостает твоей неопытности. «Женщина – исчадие ада!» Да сопутствует тебе это изречение святых отцов на всех путях твоих!

Ни отца, ни матери я никогда не знал, так как оба они трагически погибли вскоре после моего рождения. Отец умер потому что, спасая из пожара люльку с дорогим ему новорожденным, сам получил тяжкие ожоги, а мать не могла перенести смерть отца и в припадке тоски повесилась. Таким образом я с шестимесячного возраста оказался на попечении двоюродного брата отца, аббата Дюпре, служившего в предместье тихого приморского городка Лориен (в Бретани).

С самого детства океан глубоко волновал меня, принося вместе с прибоем волн какие-то смутные грезы и желания. Мне казались невыносимыми тишина и бледность моей жизни, и мечта звала куда-то вдаль, в неизведанные страны, к новым, ярким впечатлениям. Да, так было тогда, а теперь, вспоминая свою жизнь, я думаю, что у меня не было времени счастливее детских лет в тихом, милым Лориене.

Дядя-аббат заставлял меня много и серьезно заниматься. Сам он был человеком всесторонне образованным и сумел заинтересовать учением и меня. В двенадцать лет я совершенно бегло читал по-латыни и свободно понимал без словаря кодекс Юстиниана, не говоря уже о том, что Плутарх, Цицерон, Корнелий Непот, Геродот, Овидий и прочие корифеи латинской и греческой литературы были моими интимными друзьями. Вообще я, должен сознаться, был странным ребенком. Словно жил вне жизни: книги и смутные мечты, навеваемые мне океаном, составляли все мое существование.

Шли дни, складываясь в недели и месяцы; уносились месяцы, складываясь в годы. Казалось, что жизнь всегда будет идти так же ровно, серо, бесцветно и никогда не сбудутся мои яркие мечты. И вдруг они осуществились, осуществились так просто, как это бывает с важнейшими поворотными пунктами.

Это было осенью 1759 года, когда мне исполнилось пятнадцать лет. Уже с утра я видел, что дядя-аббат чем-то взволнован, что-то хочет сказать мне, но не может решиться. Я заранее волновался, но старался не подавать вида, что волнуюсь. Наконец вечером дядя позвал меня к себе в кабинет и заговорил, взволнованно расхаживая крупными шагами взад и вперед по комнате:

– Гаспар, теперь ты – уже почти юноша... Представляешь ли ты себе, что такое жизнь и что она требует от нас?

Я молчал, смущенный этим неожиданным вступлением.

Тогда дядя продолжал, видимо все более волнуясь:

– Ну, да, ты не знаешь, ты не можешь ответить... В этом моя вина: я слишком долго держал тебя возле себя! Разве монах знает жизнь? И разве можно научить другого тому, чего не знаешь сам? Я честно старался вооружить тебя как можно лучше на борьбу за жизнь, но... – Он опять замолчал, продолжая расхаживать по комнате. – Ну, словом, – продолжал он через некоторое время, – тебе нельзя долее оставаться здесь. Я стар, могу умереть каждую минуту; что же будет с тобой тогда? Ты много знаешь, ты развит и образован не по летам, но ведь жизнь требует практического применения знаний. Знать мало – надо уметь. А ты ничего не умеешь...

Я продолжал молчать, охваченный каким-то тревожным, сладким предчувствием. Жизнь... мне предстоит вступить в нее? Но, Боже мой, ведь в этом-то и была конечная цель моих смутных по своим реальным очертаниям, но ярких своими надеждами грез!

Дядя уселся в кресло и продолжал уже спокойнее:

– Говоря попросту, тебе надо избрать себе профессию. Прежде я думал, что ты пойдешь по моим стопам и станешь священником. Но, наблюдая за тобой, я убедился, что ты не годишься для пастырского призвания. Под внешней мечтательностью и кротостью в тебе таится скрытый мятеж души... Что же, и в светской жизни можно спастись, но горе тому, кто принимает пастырский обет, не будучи в силах в полной мере сдержать его. Нет, иди в жизнь, сын мой, иди в жизнь!

Но ведь я ничего лучшего и не желал тогда!

– Теперь, – продолжал дядя, – я должен познакомить тебя с твоими семейными обстоятельствами. До сих пор ты думал, что у тебя нет других родственников, кроме меня. И правда, с отцовской стороны их у тебя нет, но зато остались родственники со стороны матери. Должен сказать, что твоя мать происходила из родовитой буржуазии: она – урожденная Капрэ. Отец твоей матери был против ее брака с мелким дворянином, но, подчиняясь голосу страсти, она тайком бежала и обвенчалась с твоим отцом.

Я не хочу осуждать твоих родителей – для этого я слишком любил их, да и они сами были слишком хорошими людьми. Но по их судьбе видно, что гневящий отца гневит Бога: печальная участь твоих родителей тебе известна! Так или иначе, но отец твоей матери не простил ее брака и вычеркнул ее из своей жизни. Года два тому назад он умер, оставив все свое состояние и нотариальную контору сыну Пьеру, твоему родному дяде. Я написал Пьеру Капрэ о тебе и вчера получил от него ответ. Дядя согласен взять тебя к себе на службу, но не на правах родственника, а как постороннего: он хочет сначала убедиться, достоин ли ты его забот. Имей в виду, что твой дядя бездетен... Ну, да это – дело будущего. А сейчас важно только то, что тебе надо отправиться к дяде в Париж!

В Париж! У меня сердце остановилось от восторга! В Париж, где кипит истинная жизнь!

– В Париж? – повторил я. – Но когда же?

– Не стоит терять времени, – ответил дядя-аббат. – Годы не ждут, ты и так ты засиделся. Омнибус отходит завтра в три часа дня, вот и отправляйся. А теперь иди к себе, сын мой. Завтра утром мы с тобой еще поговорим об этом, а теперь дай мне помолиться и подумать.

Почти не помня себя от радости, я вышел из кабинета, выбрался во двор и стал обходить церковные постройки, садик, тихую обсаженную деревьями улицу. Я прощался с милыми местами, но во мне не было скорби и сожаления: моя душа ликовала, пела, носилась в сладостном вихре упоения. И только тогда, когда я незаметно очутился около старой серенькой церковки, что-то подхватило меня, я упал на колени и стал горячо молиться, чтобы Господь благословил меня на новый путь...

Должно быть, я все-таки плохо молился тогда, так как Господу не угодно было принять мои молитвы!

Не буду много говорить о моем парижском дяде и о том, как он принял меня. Ведь ему пришлось играть слишком маленькую роль в моей жизни, а мне еще надо так много рассказать вам! Поэтому скажу просто, что дядя по отношению ко мне сразу взял строго официальный тон. Он принял меня к себе на службу, четко определив мои обязанности и обусловив мое вознаграждение: столько-то в первые два года, столько-то на третий и т. д. Вне этого он ничего не хотел знать. Даже жить я должен был отдельно, хотя у господина Капрэ нашлось бы в доме достаточно места даже и для пяти родных племянников.

И началась моя парижская жизнь. С утра до вечера я торчал в конторе, занимался актами и законами, законами и актами, а по окончании занятий шел обедать в дешевенький кабачок, и если была хорошая погода – гулял немного; а потом отправлялся к себе в комнатку спать. И в праздничные дни моя жизнь была тихой и скромной: единственным моим развлечением были прогулки за город. Достаточно сказать, что я даже не проживал скудных грошей, полагавшихся мне в виде жалованья.

Так прошли два года, и мне стукнуло семнадцать лет. Я был еще совершенно чист, скромн, застенчив, словно девушка. Несмотря на соблазны одинокой жизни, несмотря на заигрывания и авансы соседок-гризеток, я еще не знал женщин. Быть может, удержись я в этой чистоте, и не случилось бы со мной того, что испортило мне в последствии всю жизнь. Но случая угодно было пробудить во мне мужчину, – и, потеряв свою чистоту, я стал уже более чувствителен к женскому влиянию. Вот о своем первом падении я и хочу сначала рассказать вам.

Не помню уже, где и как мне пришлось однажды слышать старое еврейское предание. Языческий царь призвал к себе троих еврейских праведников и приказал им совершить какой-нибудь из трех грехов по их выбору: согрешить с язычницами – рабынями короля, напиться пьяными или вкусить нечистого, тrefного мяса. Праведники рассудили, что из всех трех грехов самым невинным будет опьянение, и выпили добрую амфору крепкого вина. Но опьянев, они потеряли меру добра и зла и уже без всякого принуждения принялись есть нечистое мясо и грешить с рабынями. Таким образом, говорит талмудистское предание, вино – самое худшее из зол, потому что оно заключает в себе все остальные.

Вот и я своим падением был обязан вину. Однажды я расхворался, и мои соседи – две модистки, Роза и Клара, мелкая актриса Сесиль, студент Пьер и художник Анри – так мило отнеслись ко мне, так заботливо ухаживали за мной, что я решил по своему выздоровлении отблагодарить их маленьким пиршеством в соседнем кабачке. А тут еще подоспело окончание срока моего ученья в конторе у дяди и поступление в штат, что было сопряжено со значительным увеличением жалованья. Таким образом предлог для пирушки со всех сторон казался как нельзя более подходящим.

Все предвещало удачу нашей пирушке. Мои приятели постоянно бывали веселы и готовы были хохотать даже тогда, когда им нечего было есть; поэтому можно представить себе их настроение в виду предстоящего удовольствия. Я же с утра был в восторженном состоянии. Еще бы! Дядя поздравил меня с окончанием периода ученья и в первый раз пригласил к себе обедать. За обедом он выразил мне удовольствие по поводу моего старания, скромности и способностей, высказал надежду, что мое будущее обеспечено, и подарил немного денег. Опьяненный радостью и стаканчиком старого вина, который пришлось выпить за обедом, я радостно полетел домой к своим друзьям.

Ужин удался на славу. Молодые люди шалили, словно дети, и я сам, обычно застенчивый и скромный, не отставал от них. С каждой новой бутылкой вина настроение у меня все повышалось, манеры становились все развязнее и... в голове у меня все сильнее туманилось и кружилось. Сознание происходящего шло какими-то скачками, так все и запечатлелось у меня в памяти: отдельные сценки представляются мне очень ясно, но, что было между ними, я совершенно не помню теперь, как не помнил и в дни, следовавшие непосредственно за пирушкой.

Три сцены представляются мне особенно ярко и рельефно. Роза сидит на коленях у Анри и страстно обнимает его, Клара и Пьер возятся в углу на диване, словно котята, щекочут друг друга, хохочут, пищат, а я и Сесиль сидим близко-близко друг от друга, ее нога чуть-чуть касается моей, ее взгляд тонет в моих расширенных зрачках, и от этого прикосновения, от этого томного, жаждущего греха, обволакивающего взгляда по телу у меня пробегают колющие искорки. Воспоминания бурным ураганом крутятся в мозгу. Вспоминаются мирная жизнь в тихом Лориене, беспокойные грезы, навеваемые прибоем волн, спокойная жизнь в Париже, столь далекая от прежних мечтаний и надежд... И мозг острой молнией пронзает безумно-сладо-сладкая мысль: в этом взгляде, в этом прикосновении все оправдание, разрешение, осуществление детских грез... А Сесиль пригибается совсем близко к моему лицу и что-то шепчет Что?

Волны тумана сгущаются и заслоняют дальнейшее.

Потом они снова разрываются. Розы и Анри уже нет, Клара и Пьер в судорожном объятии сплелись и замерли в уголке дивана. Тускло горят свечи, освещая залитый вином стол. Я и Сесиль стоим совсем близко от двери. Сесиль нежно тянет меня за руку и шепчет:

– Пусть их себе! Что нам до них? Идем же, мальчик мой, идем, я так люблю тебя!

Жгучая струя хлынула в мой мозг и пеленой красного тумана снова поглотила дальнейшее. И в третий раз разрывается туман, чтобы выявить передо мной картину, которая заставляет низко-низко опускаться мою седую голову.

Мы одни в комнате Сесиль. Воздух душен и пропитан странным ароматом. Что это – запах ли духов, или благоухание чего-то мне неизвестного? Еще сильнее кружится голова...

Сесиль медленно протягивает руки, обвивает меня ими, привлекает к себе, не отрывая от меня взгляда расширенных глаз, и мы сливаемся в бесконечном, страстном поцелуе...

Ночь любви! Сколько очарования в этих двух словах! Но это очарование было бы еще больше, еще победнее, если бы за ночью любви, как и за всякой другой, не следовало утро!

И оно наступило, мое утро.

Маленькая грязная комната. Платье и белье, беспорядочно разбросанные, как попало. Не очень молодая, сильно пожившая женщина с увядшими формами и желтым помятым лицом. И сам я, какой-то запачканный, опозоренный, еле сдерживающий горькие рыдания, ошипанный птеник.

Много дурных минут переживал я в жизни, но не помню, чтобы какая-нибудь другая сравнялась по остроте презрения к себе с минутой этого пробуждения!

Моя связь с Сесиль на этом и закончилась – тому была целая совокупность причин, из которых каждой в отдельности было уже совершенно достаточно. Сесиль жила любовью, и театр являлся для нее только своего рода бульваром, как говорят теперь, в XIX веке. Как женщина не первой молодости (ей было около тридцати, а ведь для девушки, начавшей жизнь с четырнадцати лет, это – почтенный возраст), она могла забыться на минуту, отдаться капризу, но не подчинить последнему всю свою жизнь. А что был я для нее? На роль постоянного друга сердца, которого удаляют, когда является «хлебный» клиент, я не годился; содержать Сесиль я не мог. Она сорвала с меня цвет моей чистоты и удовольствовалась этим.

Да и сам я был готов на что угодно, только не на продолжение нашей связи: с этой ночью для меня было связано представление о таком непреодолимом омерзении, какого я никогда потом не испытывал.

В первые минуты после своего падения я готов был убить себя с отчаяния; но потом это ощущение сгладилось, и время от времени я с легким сердцем шел искать чувственных удовольствий у доступных женщин. В том-то и был весь ужас первого падения: оно пробудило во мне зверя-мужчину, уже не свободного от реальных грез и желаний.

Хотя связь с Сесиль распалась сама собой, но мне была невыносима мысль жить близко от нее, под одной кровлей. Я переехал в комнату на улице Фоссэ-Сэн-Жермен, которую теперь называют улицей д'Ансьен-Комеди. Ввиду того, что в то время на этой улице помещался старейший французский театр «Комеди Франсэз», большинство домов там разбивалось на комнаты, а не на квартиры. И я зажил среди самой пестрой обстановки, среди номадов искусства – комедиантствующей братии Парижа. Сесиль, игравшая в «Комеди Франсэз», изредка навещала меня, но чисто по-дружески, и ничто в ее обращении не давало и тени намека на наш прошлый эпизод. Случалось, что она занимала у меня деньги, когда дела шли плохо; бывало, она заходила за мной, чтобы дать мне возможность даром посмотреть представление. Вообще редко даже мужчины так дружат между собой, как дружили я и Сесиль. Но как чисты ни были теперь наши отношения, а нечистое прошлое нашей дружбы сделало свое дело. Я уже был не юношей, а мужчиной, которому вскоре пришлось поплатиться за свое пробуждение.

Однажды под вечер, в праздник, я вышел из дома купить себе чего-нибудь на ужин. Стояла такая дивная погода, что мне жалко было сразу же возвращаться, и я решил немного прогуляться. По дороге я встретил кого-то из приятелей, мы гуляли довольно долго, а потом зашли поужинать в кабачок. Была уже ночь, когда я возвращался на улицу Фоссэ, помахивая пакетиком с напрасно купленными ветчиной и хлебом. Я был в отличнейшем настроении и весело насвистывал залихватскую уличную песенку. Вдруг она сразу замерла на моих устах: подойдя к двери, я вспомнил, что оставил дома ключ от коридора!

В доме, где я жил, оба верхних этажа, сдававшихся под комнаты, имели отдельный вход, при котором никакого консьержа не полагалось: дверь в коридор запиралась около одиннадцати часов вечера, и запоздавшие жильцы отпирали их своим ключом. Но ведь я, выходя из

дома, не предполагал, что загуляю до такого позднего часа, а потому и не взял с собой ключа. Как же мне быть теперь и как попасть к себе?

Я присел на скамейку и стал раздумывать, меланхолически любуясь зеленоватыми бликами, щедро рассыпанными по фасаду противоположных домов полной луной. Да, ночь стояла дивная, и улица казалась очень красивой в мистических лучах Селены. Тем не менее любоваться этими красотами до утра мне вовсе не улыбалось.

И вдруг я вспомнил, что в наш коридор имеется еще другой вход с лестницы, где расположены двери дешевеньких квартир, заполнявших нижние этажи. Правда, чтобы пробраться к этому ходу, надо было сначала проникнуть через ворота, которые тоже запирались с наступлением ночи, но перемахнуть через забор было не так уж трудно для моих семнадцати лет. Не раздумывая далее, я решил осуществить свою мысль.

Через забор я перебрался без всяких затруднений и оживленно зашагал по лабиринту грязного двора. Вот я и у лестницы! Только бы не попасть в чужое помещение и через несколько минут я буду у цели!

По грязной, скользкой лестнице приходилось взбираться с осторожностью – при малейшей поспешности нога могла подвернуться, а падение в этой темноте обещало мало хорошего. Тем не менее я поднимался довольно быстро, тщательно отсчитывая этажи. Наконец я очутился на довольно широкой площадке, от которой боковая лестница в несколько кривых ступеней вела к заднему выходу комнатного коридора. Из довольно большого разбитого окна площадки широким потоком лился мягкий лунный свет, позволяя ориентироваться с большей уверенностью. Ура! Я не ошибся: еще несколько шагов – и я буду дома!

Я уже занес ногу, чтобы преодолеть последние три ступеньки, отделявшие меня от коридора, как вдруг тихий плач, послышавшийся откуда-то со стороны, заставил меня остановиться и прислушаться. Да, кто-то тихо всхлипывал совсем близко от меня. Но где? Как раз в тот момент, когда я стал осматриваться по сторонам, плач прекратился. Пожав плечами, я снова занес ногу, но в этот момент опять послышалось жалобное всхлипыванье. Теперь я ясно слышал, что плач раздавался из дверцы направо. Там был небольшой чуланчик, и в этом-то чуланчике плакал неизвестный ребенок.

Дети от малых лет и по сию пору остаются моей слабостью. Как бы дурен, капризен, зол ни был ребенок, я никогда не мог понять, как же можно заставить плакать маленького человечка? Ведь он еще наплачется в жизни! Словом, поняв, что это плачет ребенок, я сейчас же направился к чуланчику и открыл дверь, тотчас впуслав поток лунных лучей. В первый момент мне показалось, что в чуланчике никого нет, но, приглядевшись, я заметил в углу какую-то скорчившуюся фигурку, притаившуюся и со злобой испуганного зверька глядевшую на меня.

Я сделал несколько шагов вперед. Фигурка еще глубже забилась в угол, и сдавленный голос угрожающе прошипел: «Только подойди!.. Только тронь!.. Я-те глаза выцарапаю!» – и дикое существо протянуло вперед руки, растопырив и скрючив худые, бледные пальцы.

– Полно! – спокойно и ласково сказал я, – разве я хочу тебе зла, девочка? Просто я услышал твой плач и подумал, не могу ли я чем-нибудь помочь твоему горю. Ну, расскажи же мне, кто ты такая и отчего ты плачешь?

Ласка моих слов сделала свое дело. Девочка закрыла руками лицо и сквозь рыдания сказала:

– Ах, я так боюсь, так боюсь... Что-то скрипит, что-то стонет... И крысы бегают! Я заснула немножко, а они принялись возиться и скакать через меня... И есть-то мне хочется, просто моченьки нет, просто все нутро свело...

– Да откуда ты? как ты сюда попала? – воскликнул я, не зная, что и думать относительно странного положения этого ребенка.

– Я живу внизу вместе с проклятой, – мрачно ответила девочка, – она хотела избить меня, но я не далась и убежала. А теперь она у Фаншон и раньше утра не придет. Вот я и

забралась сюда... Я уже было обрадовалась, когда услышала ваши шаги: думала – проклятая идет; ведь теперь-то мне бояться ее нечего: у Фаншон она выпьет, а, выпивши, становится добренькой-предобренькой!

– Кто это «проклятая»? – улыбаясь спросил я. – Наверное, твоя хозяйка?

– Нет, это – моя мать, – мрачно ответила девочка.

– Деточка! – в ужасе вскричал я, – да понимаешь ли ты, что ты говоришь? Ведь смертный грех называть так мать!

Дикарка моментально пришла в бешенство.

– Убирайся! – закричала она, топая ногами и подымая сжатые кулачонки. – Тоже, подумаешь, какой поп нашелся! Мне и дома-то тошно от проповедей, а тут еще всякий проходимец суется... От наставлений сыт не будешь... – Но вдруг тон ее голоса из злобного сразу стал детски-жалобным, и, поднося кулачонки к заплаканным глазам, она продолжала всхлипывая: – А мне так есть хочется, так хочется!..

– Ну, вот что, деточка, – сказал я, – здесь тебе оставаться ни в коем случае нельзя. Пойдем со мной, я живу тут наверху, в комнате; у меня найдется что-нибудь съедобное, ты поешь, отдохнешь, а там мы увидим, что с тобой дальше делать.

Ее глаза заблестели голодным, жадным блеском.

– Поесть! – в каком-то мечтательном упоении протянула она. – Как это хорошо, поесть!.. Но ты не обидишь меня?

– Разве ты не видишь, что я хочу тебе только добра? – тоном мягкого упрека ответил я.

– Хорошо, я вам верю, – надменным, почти снисходительным голосом заявила девочка, а затем, подойдя ко мне и вложив свою ручонку в мою руку, повелительно сказала: – Пойдем скорее, я так хочу есть!

Через несколько минут мы уже были у дверей моей комнаты. Ключ от нее был при мне, я поспешно отпер и сказал моей спутнице:

– погоди минутку, я сейчас зажгу огонь.

Мне очень хотелось поскорее накормить несчастного ребенка, но зажечь лампу было не таким-то простым делом. Говорят, будто какой-то немец изобрел спички, ими стоит только чиркнуть, чтобы огонь загорелся. Если это так, то для тех, кто будет читать эту правдивую повесть, добывание огня станет легким делом. Мне же пришлось сначала высечь искру из стального огнива, заставить трут затлеться от этой искры, потом взять спичку (кусочек дерева, один конец которого обмокнут в серу), зажечь от трута серу, подождать, пока она прогорит, воспламенив дерево, и уже только затем я мог приступить к зажиганию самой лампы.

Пока я возился с огнем, девочка продолжала стоять у порога. Теперь при свете лампы я уже мог разглядеть ее. На вид ей было лет тринадцать-четырнадцать, она была довольно высока и очень стройна, но казалась истомленной и изнуренной до последней степени – так худы были ее руки и ноги, выглядывавшие из кучи покрывавших ее невообразимых лохмотьев. Ее лицо, бледное, покрытое ссадинами и синяками, уже тогда обещало стать очень красивым. Особенно хороши были густые золотисто-русые, прихотливо выующиеся волосы и нежные голубые глаза, поражавшие контрастом между кротостью обычного выражения и дикими огоньками, по временам мелькавшими в них и заставлявшими темнеть их безмятежную лазурь. Только в складке рта было что-то тревожное, отталкивающее: в невинности пухленьких губок чувствовалась жадность безжалостного, хищного зверя.

– Ну же, иди сюда, милая! – ласково сказал я. – Я сейчас приготовлю тебе поужинать!

Но девочка продолжала нерешительно стоять на пороге. Ее глаза, любопытно оглядывавшие убогую обстановку комнаты, теперь упрямо и недоверчиво потупились.

– Да иди же! Ну чего же ты боишься? – повторил я.

Девочка подняла на меня взор, и меня поразила перемена, сказавшаяся во всем ее виде: передо мной была уже не девочка, а опытная, знающая женщина.

– Вот что, – несколько неуверенно начала она, – уговор дороже денег... Я, пожалуй, пойду, только вы уж меня не троньте...

– Да неужели ты не видишь, что я хочу тебе только добра? – удивленно воскликнул я, не понимая истинного значения ее опасений.

На ее губах скользнула бледная, циничная улыбка.

– Знаем мы это добро! – иронически кинула она. – Вот лавочник Соро тоже все сманивает меня к себе. «Я, – говорит, – вам, барышня, желаю одного добра»... Но только пока еще этого не будет, и если вы рассчитываете купить меня за кусок хлеба с мясом, то...

– Замолчи! – крикнул я, с отчаянием хватаясь за голову и чувствуя, что рыдания ужаса подступают у меня к горлу. – Неужели люди были так злы к тебе, что ты уже не веришь в бескорыстное добро? Да ведь ты – ребенок, и говорить о таких ужасах...

Она не дала мне кончить. Она сразу преобразилась, и передо мной снова была маленькая девочка-дичок. Улыбаясь, она подбежала ко мне и с кошачьей ласковостью сказала:

– Ну, ну, *frerette* (Братишка!), не сердись, а лучше дай мне поскорее поесть. Я так голодна... Я не виновата, если мужчины по большей части все такие скверные – мало ли я натерпелась от их приставаний. Ведь я хорошенькая, а «проклятая» права, когда говорит, что в красоте и счастье, и несчастье.

Пока я разворачивал ветчину и хлеб, доставал кусочек масла, огрызок козьего сыра и молоко, моя невольная гостья, подсев к столу, доверчиво болтала с дьявольской смесью детской наивности и испорченности парижской женщины низших слоев:

– В сущности говоря, если бы ты даже и стал моим дружкой, то ничего особенно плохого тут еще не вышло бы. Все равно, не теперь, так через год... И будь я богатой, я и думать не стала бы. Но мне надо обязательно сохранить себя: ведь я готовлюсь стать актрисой.

Я резко обернулся к ней и сказал:

– Как тебя зовут?

– Адель, – ответила она.

– Ну, так вот, перестань болтать вздор, Адель, и принимайся за еду!

Девочка не заставила себя просить и с жадностью накинута на скудный ужин, разрывая ветчину руками и глотая мясо и хлеб целыми кусками, не жуя. Видно было, что она не только проголодалась, но и наголодалась, что наестся досыта было ее давнишней, недостижимой мечтой.

Я подсел к столу, смотрел, как она насыщается, и с горечью думал обо всем, что мне пришлось услышать от нее. В первый раз мне пришлось столкнуться лицом к лицу с истинным, неприглядным развратом большого города. Эта девочка пока еще чиста, но она уже знакома с грехом, мысленно уже извела его пучины и ждет только случая, чтобы с возможной выгодой вступить на торную дорожку срама и позора, в которых «не видит ничего особенного»! О, этот проклятый город! Каким страшным ядом пропитывают его безжалостные паучьи лапы детский мозг и невинную душу ребенка! Нищета! Ты – не порок, о, нет!.., но в большом городе ты таишь в себе все пороки сразу!

Утолив первый голод, Адель с блаженным видом потянулась к бутылке.

– Гм... молоко! – критически прищурившись протянула она. – Конечно, иногда и это недурно, но, может быть, у тебя найдется глоток вина?

У меня было легкое красное вино: не знаю, как теперь, но в те времена вино стоило дешевле хлеба и составляло необходимую принадлежность каждого стола. Но как ни легко было это вино, мне казалось диким и непривычным, чтобы у ребенка могла быть потребность в нем. Однако я подумал, что ночь была довольно свежа, Адель, наверное, промерзла, так что выпить глоток вина ей и на самом деле не худо. Я достал с окна бутылку и налил Адели четверть стакана.

– Спасибо! – сказала она, одним духом выпивая вино, затем, не спрашивая моего разрешения, налила себе еще целый стакан и залпом выпила и его тоже. – Уф! – сказала она затем, – вот теперь можно и продолжать! – и она продолжала есть, пока не подобрала все до крошки.

Тогда меня даже удивило, что Адели и в голову не пришло подумать, не хочу ли и я поесть. Но впоследствии я к этому привык... Впрочем, в данный момент меня более всего поразила та легкость, с которой девочка пила вино.

– Однако! – с шутливым укором сказал я. – Разве тебе дают дома вино?

– Дома? – удивленно переспросила Адель. – Мяса у нас почти не бывает – это правда, ну, а в вине недостатка нет!

Уписывая остатки ужина, Адель рассказала мне о себе. Ее мать, Роза Гюс, была прежде мелкой актрисой и вместе с труппой изъездила всю Европу, побывав даже в далекой России. Там-то Роза и почувствовала себя матерью, но, кто был отцом ребенка, этого она наверняка сказать не могла.

– Да и немудрено, – со злой усмешкой пояснила Адель. – Ведь «проклятая» с кем только не путалась! Она и теперь готова всякому на шею броситься. Только дудки, прошло ее время – кому нужна такая гнилая пьяница!

Если с достоверностью Роза и не могла назвать отцом Адели определенное лицо, то больше всего шансов на эту честь было у русского графа, очень недавнего происхождения (Предполагаемым отцом Аделаиды был Лесток, лейб-медик императрицы Елизаветы Петровны, возведенный в графское достоинство за переворот 1741 г., т. е. при ниспровержении правительства регентши Анны Леопольдовны и воцарении Елизаветы.), а потому – заносчивого и гордого. Роза обратилась к графу с требованием обеспечить ребенка, он же вместо этого приказал выслать актрису из пределов России. Гюс-мать была на склоне молодости, когда с ней случился этот «грех». Повлияло ли это обстоятельство, или виной были крушение радужных надежд и суровая высылка, только трудные роды унесли с собой последние остатки былой красоты, и, оправившись, Роза Гюс очутилась лицом к лицу с самой неприглядной бедностью. Она стала попивать, и это заставило ее опуститься еще ниже. Ни один даже самый убогий театрик не желал теперь принять ее к себе на службу, и в последние годы старуха жила до ужаса бедно, так как источник ее доходов был слаб и шаток; она лишь вертелась за кулисами «Комеди Франсэз», оказывала мелкие услуги молодым актрисам, служила посредницей между ними и поклонниками, передавала записочки от молодых и старых щеголей, приходила на помощь в затруднительных случаях – словом, не гнушалась никакой работой, лишь бы эта работа не требовала от нее физического труда. Но эта сомнительная работа оплачивалась очень скудно, да и привычка к рюмочке делала свое дело, так что Адель постоянно голодала. Правда, выпадали счастливые дни. Вот, например, завтра старуха будет добренькой, потому что сегодня «налижется» и получит от Фаншон, актрисы из «Комеди Франсэз», хорошо «на чай» (Автор пользуется в данном случае русским выражением, подходящим по смыслу, но текстуально неверным: чай и теперь не получил во Франции права гражданства, а в те времена им чаще пользовались только как лекарственным снадобьем.): Фаншон устраивает ужин для коллег, и старуха должна была присмотреть за слугами. Зато в те дни, когда не на что выпить, мать зла до ужаса и жестоко дерется по каждому пустяку. И то сказать, ей приходится очень трудно. Ну зато, когда она, Адель, подрастет, их бедствия кончатся: Адель станет актрисой, но уже не такой, как дура-мать! И погоди ж ты! Все эти синяки, царапины и побои она выместит тогда на «проклятой».

Покончив с ужином и выпив последние капли вина, Адель потянулась с видом довольной кошечки и сказала, потирая кулаками сонные глаза:

– А теперь спать, спать! Но как бы нам устроиться?

– Если ты стесняешься меня, – улыбаясь сказал я, – то это ни к чему: как ты видишь, у моей кровати имеются занавески, и, если я спущу их, так мы друг друга не увидим.

– Стесняться! – пренебрежительно кинула она. – Вот глупости! Я думаю вовсе не о том! Как ты меня устроишь?

– А вот соберу я все свое платье, покрою им помягче этот деревянный диванчик, да и спи себе с Богом!

– О, – деловито возразила Адель, – мне, право, совестно, что ты будешь так много хлопотать из-за меня! Нет, я придумала гораздо проще: я лягу на твою кровать, а ты устройся здесь. Тогда тебе не придется ничего делать для меня!

Не успел я ответить что-либо на эту хитрую наивность, как Адель обвила мою шею руками, поцеловала меня в губы и, кинув мне: «Спасибо и покойной ночи, братец!», очутилась возле кровати. Через несколько секунд занавески последней опустились, послышалось шуршание сбрасываемого платья, затем Адель принялась что-то говорить, ее голос все слабел, быстро перешел в неясное бормотанье, и через минуты две-три все замолкло.

Что касается меня, то я с комическим жестом беспомощности принялся, как умел, уstraиваться на диване. Для Адели он был бы как раз по величине, но для меня слишком мал. Лежать было страшно неудобно, приходилось изображать какой-то крючок, и в эту ночь я почти не спал. Ворочаясь с боку на бок, я непрестанно думал о несчастной девочке, которую случай загнал под мою кровлю. Мне хотелось видеть в этом какой-то указующий перст: ребенок с хорошими инстинктами, с богатой натурой (по крайней мере я уверил себя, что это так), гибнет, словно растеньице, лишенное заботы и внимания. У меня много свободного времени, которое пропадает зря, в праздности и чревоугодии. Почему не посвятить этого времени несчастному ребенку, почему не постараться развить ум Адели и просветить ее душу, не ведающую Бога, не постигающую границы между добром и злом?

Мне вспомнился дядя-аббат; он, как живой, вырос передо мной со своим бледным лицом, умными глазами и доброй, мягкой улыбкой. Мне показалось, будто я вижу, что он благословляет меня на уловление этой первобытной души для Бога, и я еще тверже проникся принятым решением.

Если бы я не был так молод тогда, я понял бы, что цветок, выросший на могиле, с момента зарождения отравлен соками разложения и что не во власти слабого юноши изменить его ядовитые свойства. Я понял бы, что такой цветок нельзя спасти, самому же легко отравиться им.

Очень скоро эта роковая истина стала ясна мне. Но тогда было уже слишком поздно.

Утром я вскочил с дивана по крайней мере на полчаса раньше, чем обыкновенно: перед уходом в контору надо было напоить мою случайную гостью горячим молоком с хлебом.

Я побежал в лавочку.

Она была за углом. Проходя мимо ворот, я увидел там кучку народа, обступившего небольшую, полную женщину с квадратным оплывшим лицом, синевато-багровые жилки которого говорили о ее пристрастии к спиртным напиткам. Она взволнованно рассказывала что-то, сильно жестикулируя руками. До меня донесся обрывок ее фразы:

– А ведь подумать только, что я лишь для нее и жила! И где мне искать ее? Париж – не такой город, чтобы добровольно отдавать свои жертвы!

Услыхав, что слушатели называли женщину «мадам Розой», я понял, что передо мною мать Адели, Роза Гюс. Я торопливо подошел к ней и спросил:

– Если не ошибаюсь, вы – госпожа Гюс?

– Я самая и есть, – с заискивающей улыбкой, моментально сменившей выражение театрального пафоса, ответила мне мамаша Гюс. – А чем могу служить вам, мой молодой барченок?

– Я слышал, что вы беспокоитесь о пропавшей дочери. Так не волнуйтесь: Адель жива и здорова, она у меня.

Я не ожидал, что мои слова произведут такой громоподобный эффект. В первый момент Роза только раскрыла рот и выпучила глаза. Но затем сейчас же ее лицо покрылось густым, словно апоплексическим, румянцем бешенства и, ухватившись цепкими пальцами за мой рукав, мегера отчаянно завопила:

– Полицию сюда, полицию! Господа, будьте свидетелями: этот негодяй завлек мою дочь... Полицию! Полицию!... Да разве я для тебя берегла и холила ее?

– Полно вам вздор-то молоть! – сурово оборвал старуху коридорный нашего этажа. – От месье Гаспара еще никто ничего худого не видал, и если девчонка у него, так вам надо благодарить за это Бога!

– Как вам не стыдно! – крикнул и я, со злостью вырывая свой рукав из цепких пальцев мегеры. – Хороша мать, у которой только одни гадости на уме! Нечего сказать, научите вы добру свое дитя! Вы лучше не выгоняли бы ее на улицу, чем набрасываться на добрых людей, которые пожалели обиженную крошку. Ну что же, зовите полицию, я по крайней мере спрошу, имеет ли право мать выгонять девочку-подростка на всю ночь из дома, толкая ее прямо в лапы разврата! – и в бешенстве я стал осыпать старуху бранью, угрозами и проклятиями.

Не обращая внимания на мою брань, она радостно схватила меня за руки и затараторила:

– Так с бедной крошкой ничего не случилось? О, простите меня, дорогой месье, не судите строго несчастную мать, на которую и без того сыплются все кары земные и небесные! Мало ли чего не скажешь с отчаяния! Но вы, такой молодой, образованный господин, не можете сердиться на нищую старуху, у которой на свете нет ничего, кроме ее дорогой крошки! Где же она? О, дайте пострадавшей матери поскорее прижать к сердцу свое дитя, которое она уже считала потерянным!

В голосе, манерах и позе Розы было столько театральной напыщенности, что мне стало невыразимо противно. Брезгливо вырвав руки, я угрюмо сказал ей:

– Адель у меня в комнате. Коридорный Жан проводит вас. Идите за ней!

Затем я повернулся и ушел в лавочку.

Когда я вернулся с хлебом и горячим молоком, Адель была еще у меня. Подходя к двери, я услышал обрывки ее разговора с матерью. Старуха говорила льстиво и заискивающе, Адель отвечала ей сухими, злобными репликами.

Не успел я поставить молоко и хлеб на стол, как Адель с радостным криком бросилась ко мне на шею и крепко поцеловала меня прямо в губы. Это был поцелуй младшей сестренки, поцелуй ребенка, и все-таки эта ласка заставила меня вздрогнуть и слегка отстранить от себя девочку.

– Я не хотела уходить, не повидавшись с тобой, братишка! – с кошачьей ласковостью говорила мне тем временем Адель. – Я тебе так благодарна, так благодарна!

Мать сделала какое-то движение, явно собираясь присоединиться к благодарностям дочери, но я угрюмо отвернулся от нее и сказал Адели:

– Вот молоко и хлеб, Адель, ты, должно быть, голодна! Перестань болтать и кушай поскорее; мне пора в контору!

Не заставляя себя упрашивать, Адель весело подскочила к столу, уселась на высокую табуретку и, болтая ногами, принялась уписывать молоко с хлебом. В это время Роза подошла ко мне и сказала с тронувшей меня простотой:

– Простите меня, господин Гаспар, что я наговорила вам разных гадостей! Бедность и несчастья так издергали меня, что я хожу словно сама не своя. Иной раз сама говорю что-нибудь, а внутри меня другая «я» сидит, которая слушает да удивляется. Вот иной раз бедной Адели от меня попадает, а ведь на самом деле я так горячо люблю ее.

– Меньше бы любила, да чаще кормила бы! – кинула Адель, запихивая себе в рот остатки булки: эта маленькая обжора снова ничего не оставила мне!

– Я нисколько не сержусь на вас, мадам, – ответил я Розе. – Я отлично понимаю, что вы взволновались за дочь. Меня только взбесило, что вы, будучи сами виноваты, накидываетесь на человека... Ну, да дело прошлое, не будем вспоминать о том, что было: я ведь тоже у вас в долгу не остался!

– Так докажите на деле, что вы не сердитесь! – с обрадованным видом подхватила старуха. – Поужинайте сегодня с нами!

– Но, мадам... – смущенно начал я.

– Ну да, вас затрудняет наша бедность, вы боитесь обездолить нас? Но я очень прошу вас: не обижайте нас и примите мое приглашение. Мое положение теперь значительно улучшилось, а кроме того, мне надавали от вчерашнего пира столько вкусных вещей, что мне есть чем настоящему принять вас. Умоляю вас, дорогой месье, не отказывайтесь!

Мне не очень-то улыбалась мысль угощаться обедами актрис и кутил, но, когда я посмотрел на Адель, в ее голубых глазах блеснула такая мольба, что я не нашел в себе сил отказаться. И я принял предложение, после чего голодный ушел в контору: по дороге можно было чего-нибудь купить и тут же съесть.

Вернувшись из конторы, я спустился к назначенному часу вниз, где помещалась квартира Гюс. Я постучался – никто не ответил мне на стук; заметив, что дверь открыта, я вошел в первую комнату.

Все здесь говорило об ужасной бедности. Некрашенный деревянный стол, такие же табуретки и ободранный шкаф составляли всю ее меблировку. Но я сразу заметил, что к моему приходу готовились: стол, табуретки и пол были вымыты и выскреблены начисто, и кое-где еще виднелись пятна непросохшей воды.

В комнате никого не было, а из соседней доносились голоса. Я кашлянул, но ответа не было. Прислушавшись, я различил голос Адели, декламировавшей:

Мрачно ехал он в думах микенским путем,
Безнадежной рукой...

– Не то, Адель, совершенно не то! – каким-то отчаянием зазвенел голос ее матери.

Я был поражен. Еще недавно я по протекции Сесиль слышал «Федру», знаменитую трагедию Расина, а любимица жуирующего Парижа Фанни Молле (в просторечии: Фаншон) произносила эти самые слова несравненно хуже и бледнее, нежели теперь это делала Адель. Чем же недовольна старая Гюс?

Ее дальнейшие объяснения развеяли мое недоумение.

– Ты подумай только, – сказала она, – ведь тут должна выразиться целая смесь чувств. Она и злобствует, и раскаивается, она ненавидит Ипполита, но в то же время и любит его. Она принижена его отпором, но не может забыть, что она все-таки царица. В каждом слове двойная игра чувств и страстей... Ну, повтори это еще раз, милочка!

Адель снова начала:

– «Мрачно ехал»...

– Да как ты не понимаешь, – со страданием перебила ее мать, – что все дело не в том, что он «ехал», а что он ехал «мрачно»? А ты ставишь ударение...

– Мне это надоело, мать, я устала! – капризно заявила Адель.

– Что же делать, дочка? – ответила мать. – Какие бы у тебя ни были способности к сцене, а без упражнений ты ничего не добьешься! Для того, чтобы сделаться истинной актрисой, мало одного таланта!

– Ну, вот еще! – слышался капризный голосок Адели. – У Фаншон нет ровно никакого таланта, а между тем она пользуется огромным успехом! Я достаточно красива, чтобы сделать карьеру не хуже чем у нее...

– Голубушка! – перебила ее мать. – Да ведь если Фаншон сегодня подурнеет, так ее завтра же прогонят со сцены! Да и цена женщине совсем другая, если она и красива, и талантлива!

Не могу передать вам, какой острой болью отозвались в моем сердце эти разговоры. Все протестовало во мне: да ведь Адели нет еще и пятнадцати лет! Боже мой, Боже мой, что же будет с ней, когда она вступит на дорогу созревшей женщины!

Я не мог слушать долее и осторожно, на цыпочках, выбрался за дверь. Неужели нельзя спасти Адель?

«О, нет, можно, – кричала во мне самоуверенность юности, – надо только не складывать рук, не отступать перед препятствиями».

Постояв несколько минут за дверью, я снова вошел в комнату, но на этот раз громко стукнул дверью, чтобы обратить внимание хозяек на свой приход.

– Ба, да это – братишка! – весело крикнула Адель, высовывая голову на мой стук. – Иди, иди, голубчик, мы сейчас! – и она вместе с матерью вышла из комнаты и сейчас же принялась хлопотать над убранством стола к ужину.

Как объяснила мне старуха Гюс, вчера у Фаншон почему-то собралось народа вдвое меньше, чем ждали, а потому много кушаний остались не только нетронутыми, но даже неподанными к столу. Но это еще что!., самое важное то, что благодаря Фаншон ей, Розе Гюс, удалось получить место смотрительницы дамских уборных, а это уже дает ей хотя и не очень большой, но верный заработок. Говоря все это, старуха расставляла на столе, покрытом рваной, но чистой скатертью, жареную птицу, паштеты и прочие деликатесы, в чем ей оживленно помогала Адель.

Я сидел в уголке, подавал короткие реплики на слова старухи и любовался редкой грацией всех движений девочки. Каждый шаг и жест, манера братья за тарелку, поворот головы, когда Адель осматривала стол, – все было полно гармонии и изящества. А подвижность ее лица, отражавшего все случайные настроения!

И я еще собирался удержать ее от сценической карьеры! Нет, об этом нечего было и думать: Адель создана для подмостков, и не в человеческой власти удержать ее от сцены.

Вдруг лицо Адели приняло серьезное, задумчивое выражение.

– Вот что, мать, – сказала она, – почему бы тебе не поговорить с братишкой о деле Дюперье? Братишка – юрист; он к нам расположен и не продаст нас, как все эти негодяи!

– А и в самом деле! – оживилась старуха. – Месье Гаспар, не дадите ли вы нам совета, как быть в нашем деле...

– О, я очень рад служить вам, чем могу, дорогая мадам! – отозвался я.

Старуха на минутку скрылась в соседней комнате и сейчас же вернулась с листом бумаги в руках.

– Сначала расскажу вам, в чем тут дело. Есть у нас в «Комеди» артистка Клерон. Актриса она не из последних, ну, и распутница тоже не из последних. Своих дружков она меняла как перчатки. Только вдруг Сюзанна – так зовут Клерон – захандрила и разогнала всех своих обожателей. В чем дело? Оказалось, эта дуреха влюбилась, как кошка, в своего собрата по сцене, Бризара, а тот на нее и смотреть не хочет. И вот в это-то время Клерон увидел богатый суконщик Дюперье. Стал он за ней увиваться, а она от него нос воротит. Это взбесило и раззадорило его: ведь он слышал, что Сюзанна не из неприступных. Так почему же ему такая немилость? Посоветовался он со знающими людьми, а те ему и сказали: «Обратись-ка ты к тетке Гюс. Она – большая мастерица устраивать счастье любящих сердец, а берет недорого!»

– Да как же вы решаетесь говорить все эти гадости при вашей дочери! – крикнул я с отчаянием, вскакивая с табуретки.

Увидав мое взволнованное лицо, Адель расхохоталась, как сумасшедшая. Старуха помолчала несколько секунд и сказала серьезно и ласково:

– Эх, дорогой месье Гаспар! Вы сами – еще почти мальчик, ну а я – старая женщина, которая не закрывает глаз на настоящую жизнь! Разве в том ужас, что я эти гадости не только рассказываю, но и делаю, а не в том, что без них я прожить не могу? И разве без этих гадостей Адель сможет прожить на белом свете? Нет, милый месье, чем раньше девочка будет знать все, что творится у нас, тем лучше для нее. Меня растили в полном неведении, собой я была не хуже Адели, вот моей наивностью и воспользовались. А что проку для меня от того, что я была весела и красива? Нет, милый мой, когда выходишь на улицу, надо знать, какая стоит погода. Пусть и Адель заранее знает, что она выходит на грязную, очень грязную улицу.

– Но неужели другого пути нет? – с отчаянием спросил я.

– Нет, месье Гаспар, его нет. Для Адели кроме сцены только два пути: идти в услужение или выйти замуж. Но разве можно браться за какое-либо ремесло с ее наружностью? Ведь она должна будет все равно пойти дорогой греха, только получать за это будет меньше, да рано подурнеет от забот и лишений! Нет, я уж предпочитаю сцену. Ну, а замужество... Эх, дорогой месье, да кто же возьмет замуж нищую девчонку, дочку старой Гюс? Может, и польстится какой-нибудь ремесленник или мелкий лавочник. Да ведь Адель никогда не помирится со скучной, серой, нищенской жизнью. Ведь она через месяц после свадьбы начнет изменять мужу с любым молодчиком, который подарит ей шляпку или ботинки...

– Еще бы! – отозвалась Адель, со спокойным пренебрежением пожимая плечами.

Я молчал. Да и что мог я возразить против этой ужасающей логики? Я верил в добро, верил в его победную силу, но эта вера была построена на отвлеченных умозрениях, а здесь со мной говорила сама неприкрытая житейская правда!

– Если позволите, я буду продолжать, – заговорила старуха после короткой паузы. – Дюперье обратился ко мне, обещая по-царски наградить меня, если я устрою ему Клерон. Я обещала сделать все, что могу, но в душе решила, что это совсем безнадежно. Однако мне повезло. Однажды, когда я вертелась около уборных, подходит ко мне Клерон да и говорит: «Вот что, тетка Гюс, дурь у меня из головы выскочила: любовью да грошовым жалованьем с моими привычками не проживешь! Да только в то время, пока я с ума сходила, все от меня отскочили, а мне первой начинать нельзя: цену собьешь! Вот я к тебе с просьбой: устрой ты мне какого-нибудь богатого молодчика. Ты увидишь, что Клерон умеет быть благодарной!» Я сейчас же полетела к Дюперье и сказала ему, что его дело устроить могу, но за это он должен как следует отблагодарить меня. Он обещал мне выплачивать пожизненную пенсию в пятьдесят ливров (На теперешний счет 150 франков, т. е. около 40 рубл. по тогдашнему курсу, или около 200 рубл. по нынешнему.) в год и одновременно дать сто ливров. Но я знаю, как обманывают нашего брата, бедного человека! Поэтому я твердо заявила, что без расписки дела не устрою. Дюперье в шутку выдал мне формальную маклерскую запись. Тогда я свела парочку и от радости поставила в соборе Нотр-Дам самую толстую свечку: Бог внял слезам вдовицы! Однако моя радость была преждевременной. В первый год я получила свои деньги исправно в два срока, как и было уговорено, но на второй год Клерон, порядочно пощипав Дюперье, променяла его на ювелира Мозеса, и, когда я явилась к Дюперье, этот купец без церемонии выгнал меня. Я обратилась к адвокату, но тот отказался взять мое дело, говоря, что запись противозаконна, а кроме того там включен – чего я не знала – такой шуточный пункт, что «если счастье купца Дюперье и артистки Клерон расстроится по вине последней, то действие сей записи уничтожается». Ко многим я ходила; один было взялся, но через несколько дней вернул мне мою бумагу: должно быть, Дюперье подкупил его. Вот эта бумага: посмотрите ее, голубчик, нельзя ли что-нибудь сделать? Ведь для меня с Аделью это – просто спасение!

Внутренне содрогаясь от всей этой грязи, я взял в руки оригинальный документ, а затем, прочитав его и подумав немного, сказал:

– Законным путем тут действительно едва ли что-нибудь сделаешь. Но возможность получить деньги все-таки есть...

– Да неужели? – воскликнула старуха. – Адель! – неожиданно засуетилась она, – у нас мало вина. Вот деньги; сбегай, голубушка! Так неужели возможность все-таки есть? – продолжала она, когда девочка направилась к двери. – Да как же мне благодарить судьбу за то, что я встретила вас? Но каким путем, вы думаете, можно это сделать?

– Прежде чем говорить о путях и способах, милая мадам, – улыбаясь заметил я, – поговорим об условиях.

– Ну да, ну конечно! – несколько недовольно подхватила Гюс. – Я знаю, что ваш брат-юрист ничего ради прекрасных глаз не делает. Да я и не отказываюсь поблагодарить вас за труды и хлопоты, но вы уж будьте снисходительны и не пользуйтесь моим бедственным положением... И вперед на расходы я тоже ничего не могу дать! – спохватилась она.

– Вы дурно поняли меня, мадам Роза, – спокойно возразил я. – Я собираюсь устроить это дело именно «ради прекрасных глаз», потому что для себя я не ищу тут никаких выгод. Постарайтесь понять меня. Я с детства не знал семьи, и, когда я увидел вашу Адель, мне показалось, будто Бог послал мне сестренку. Да она и сама чувствует это: вы заметили, что она по собственному почину называет меня братишкой. Так вот, говоря об «условиях», я имел в виду только свою богоданную сестренку. Я устрою вам это дело, но от этого должна выиграть Адель.

– Господи, да я и так, кажется, всю душу...

– Да, да, мадам Гюс, я верю, что вы очень любите Адель, но это не мешает ей ходить в синяках от ваших побоев. Поглядите только, на что она похожа...

– Ах, месье Гаспар, да разве я бью ее! Это нужда ее бьет.

– Ну, так я хочу, чтобы нужда больше не била ее. Как вы не понимаете, что вы этим действуете против своих же собственных интересов! Ведь так недолго и изуродовать ребенка. Кроме того, я не хочу, чтобы Адель жила в такой развращающей обстановке. Вы доказали мне, что кроме сцены ей иного пути нет. Пусть будет так. Но я хочу, чтобы она вышла на подмостки как можно более вооруженной. Я буду заниматься с ней, постараюсь развить ее. Но вы должны дать мне честное слово, что мешать мне в этом не будете. У вас теперь есть маленький заработок, от Дюперье я постараюсь взять сразу сумму за несколько лет. Вы должны устроиться поприличнее и не посылать девочку, например, в кабаки за вином...

– Но я и сама буду счастлива устроиться так, милый месье! Об этом и говорить нечего: я сама не враг своему ребенку. Только не верится мне что-то: как это вы ухитритесь вытянуть деньги у скареда Дюперье, если законно сделать это нельзя?

– Я сейчас объясню вам это. Мне известно, что Дюперье женился шесть месяцев тому назад и что жена держит его в ежовых рукавицах. Так вот, если Дюперье откажется исполнить свое обязательство, я пригрозю ему судом. Я, дескать, вызову свидетелей, которые должны будут выяснить, по чьей вине нарушено счастье Дюперье и Клерон. Конечно, если возбудить такой процесс, то суд все равно в иске откажет, но Дюперье не рискнет скандалом, который неизбежно возникает в подобном случае. Вот, пользуясь щекотливым положением купца, я и заставлю его купить у меня его маклерскую запись, а ценою будет десятилетняя пенсия вам, то есть полторы тысячи ливров.

Как раз когда я объяснял это, вернулась Адель. Мы сели за стол, и ужин прошел очень весело благодаря радостному настроению, охватившему мать и дочь при зароненной мною надежде на получение денег.

Я рассчитал совершенно верно: Дюперье испугался скандала и вручил мне полторы тысячи ливров в обмен на компрометирующий его документ. С разрешения старухи Гюс и по совету дяди я пристроил эти деньги под верное обеспечение и хорошие проценты, так что Гюс могла иметь около двухсот ливров ежегодно. Должность заведующей уборными вместе со

случайными доходами давала Розе тоже около двухсот ливров. Таким образом у нее было до четырехсот ливров в год, а на такую сумму в те времена можно было жить хотя и скромно, но чисто и без нужды. И было решено, что Гюс подыщут себе другую квартиру.

Совсем близко, в переулочке, нашлась хорошенькая квартирка, но она была слишком дорога для Гюс. И однажды старуха сказала мне:

– Послушайте, месье Гаспар, а почему бы вам не поселиться у нас?

От неожиданности я растерялся: во мне пробудились самые противоречивые чувства. Конечно, жить в семье, где за тобой и приберут, и присмотрят... не быть таким одиноким, заброшенным... Но, с другой стороны, жить под одной кровлей с этими женщинами, которые так дико, так предосудительно смотрят на жизнь и вопросы морали! Мне, воспитаннику аббата Дюпре, дышать этой атмосферой греха!

А старуха продолжала:

– Мы дадим вам угловую комнату: она светлая и веселая. Вам будет хорошо у нас, не придется возиться со скверными ресторанными обедами. И возьму я с вас недорого! Зато как хорошо нам будет иметь возле себя такого честного, милого человека, на которого можно всегда положиться! И за Адель я буду рада...

Упоминание об Адели еще более увеличило мое смятение. Жить рядом с ней, вечно чувствовать на себе ее обаяние!.. Я невольно посмотрел на девушку, скользнул взглядом по ее гибкой, змеиной фигурке, по тонкому, бледному личику с алым чувственным ртом, по спутанным прядям ее золотистых кос и почувствовал, что нечто большее, чем простая братская привязанность, притягивает меня к этому созданию!

Все внутри меня запротестовало при одной мысли о возможности каких-либо иных чувств к Адели.

«Это – сумасшествие, этого не может быть! – с отчаянием думал я. – Я сам создаю себе какие-то дурацкие опасения! Но, раз они имеются, тем более должен я быть осторожен и ни в коем случае не принимать этого предложения!»

Видя мое колебание, Адель встала, подошла ко мне, положила мне на плечи руки и, слегка прижимаясь и заглядывая мне в глаза, сказала тоном балованного ребенка:

– Да ну же, братишка, не упрямясь, право тебе будет хорошо у нас! Ну, согласен? Ведь да?

Дрожь пробежала по всему моему телу от этого прикосновения, взгляда, голоса... Я хотел решительно отказаться, но губы сами собой сказали:

– Да, согласен!

Благодаря Сесиль я познал сладость греха – теперь я был уже беззащитен против чар женского влияния.

Так случилось, что я поселился у Гюс, так я сделал первый шаг навстречу своей гибели...

Глава 2

До сих пор я описывал историю своего знакомства с Аделаидой Гюс, основываясь на своих личных переживаниях и ощущениях. Вернее будет сказать, что я дал историю своих внутренних переживаний, которых в предыдущей главе больше, чем событий и действий. Но это было необходимо для того, чтобы читатель мог возможно яснее представить себе, что я представлял собой как личность, так как трагизм моей судьбы не в каких-либо особых бедствиях, а в явном несоответствии моей жизни с моей нравственной позицией. Но в дальнейшем повествовании я должен отказаться от психологических деталей. Они только утомят и отвлекут внимание читателя, так как тот, кто уяснил себе из предшествующей главы мой облик, тот и без всяких патетических выкриков поймет, как должен был я бесконечно страдать, играя навязанную собственной неосторожностью унижительную роль. Поэтому ограничусь кратким обзором своих отношений к обеим Гюс и беглой характеристикой юного Гаспара Лебефа.

Теперь, на склоне своих девяноста двух лет, я могу беспристрастно судить о себе в прошлом. И вижу, что и в восемнадцать-девятнадцать лет я все еще был милым, наивным мальчиком, чувствительным, добрым и неглупым. У меня были очень привязчивая душа, страшная брезгливость ко всему неопрятному и бесчестному, но излишняя мягкость и склонность к фантазированию заставляли быстро подыскивать извинительные мотивы для действий тех лиц, к которым я был привязан. Поэтому, несмотря на первоначальную антипатию к старухе Гюс, я очень быстро примирился с ней и даже стал относиться к ней с любовью.

С одной стороны мне было хорошо у них жить, за мной ухаживали, добросовестно кормили, и благодаря тому, что я не был уже таким бесприютным, как прежде, меня реже тянуло на улицу. А это дало мне возможность увеличить свои сбережения, которые я инстинктивно держал втайне от Гюс – матери и дочери. Но если физически я выигрывал от жизни у старухи, то морально не мог не пострадать. Мало-помалу я заражался тонким ядом философии нищеты, которую исповедовала старуха и которая все сводила к неизбежности падения и невозможности жизни по заветам Бога в современных условиях. Прежде я возмущался и протестовал, потом начал просто спорить, спокойно, академически; мало-помалу я уступал, сдавался и незаметно для самого себя стал примиряться с взглядами Розы на жизнь, а затем наступило время, когда я уже смог принимать участие в обсуждении того, что еще недавно способно было заставить меня рыдать от отчаяния.

Почти так же обстояли мои дела с Аделью. Иллюзии братских чувств постепенно рассеивались, и настало время, когда я без всякого удивления заметил, что люблю Адель с необузданной страстью. Но когда именно моя симпатия к девочке перешла в страсть к женщине, этого я не мог бы определить. Возможно, что страсть созревала так же незаметно, как незаметно Адель из подростка превратилась в пышную девушку-красавицу.

Адель отлично видела мою любовь и забавлялась тем, что разжигала во мне страсть. Особенно удобными моментами для этих упражнений были наши уроки. Мне удалось настоять, чтобы Адель под моим руководством занялась расширением своих умственных горизонтов. Сначала она усиленно отвиливала от уроков, но, когда я доказал ей, что образование и умение поговорить «о том о сем» даст ей преимущество перед ее будущими подругами-актрисами, равными ей по красоте и таланту, она быстро согласилась. С писанием, арифметикой и эстетикой дело не пошло: Адель чувствовала непреодолимую ненависть к перу, таблица умножения двузначных чисел казалась ей страшнее китайской грамоты, а эстетика навевала на нее отчаянную зевоту. И до конца своих дней она так и не могла постигнуть, что хотели сказать древние, когда требовали для театральных произведений единства времени, места и действий!

Поэтому наши уроки заключались главным образом в том, что я что-нибудь читал или рассказывал Адели. Я передавал ей содержание величайших классических произведений, и

если мне удавалось заинтересовать ее фабулой, то незаметно рассказ сводился к истории или географии тех краев, где разыгрывалась данная трагедия. Таким образом, мне удавалось незаметно обогащать знания Адели. Единственно, что она очень любила, это стихи: к чтению поэзии ее не надо было принуждать, и, чем сентиментальнее и чувствительнее была стихотворная речь, тем жаднее накидывалась на нее Адель. Впоследствии мне пришлось убедиться, что это обычное явление: женщины дурной жизни и мужчины с наклонностью к жестокости очень падки на сентиментальные стишки.

Вот во время этих-то уроков Адель и занималась разжиганием моей страсти. Вдруг придвинется поближе, будто ненарочно тронет ногой, положит пальцы на мою руку. Позднее, развившись в дивно сложенную девушку, Адель нередко старалась устроить так, чтобы попасться мне на глаза в самом откровенном дезабилье. Видимо, ее забавляла сложная игра чувств, отражавшаяся при этом на моем лице. Но, заигрывая со мной, она не позволяла мне ни малейшей нежности, самой допустимой вольности. И когда я бывал около Адели, то чувствовал себя в положении человека, которого с одного бока подмораживают, а с другого – поджаривают.

Так шло время. Адель незаметно хорошела, я незаметно отравлялся ядом циничного отношения к жизни. Наконец наступила пора реальных забот и тревог.

Ради вящего развития несомненного таланта Адели и по причинам чисто тактического свойства Роза вскоре отказалась от занятий с дочерью и только помогала ей готовить уроки, а наставлять в премудростях драматического искусства девочку стала уже немолодая актриса Дюмонкур. Последняя обладала большим талантом и когда-то гремела, но судьба не послала ей ни красивой наружности, ни распушенности, и, когда свежесть молодости пропала, талантливую актрису стали затирать пикантные бездарности. Дюмонкур была слишком умна, чтобы открыто протестовать против этого; она добровольно отошла в тень и стала довольствоваться скудным жалованьем и редкими ролями, которые перепали на ее долю. Эта скромность была оценена и товарищами, и начальством. Когда же Дюмонкур взяла под свою защиту одну из вновь поступивших актрис, встреченную очень враждебно остальной труппой, а вслед затем эта актриса заняла прочное место в сердце главного интенданта (или, по-теперешнему, директора театра), маркиза Гонто, то новая фаворитка использовала свое влияние для улучшения положения покровительницы. Действительно, с Дюмонкур стали советоваться, ее мнение принималось в расчет при всевозможных театральных переменах. Вот поэтому-то старуха Гюс и решила просить Дюмонкур давать уроки Адели: даже и те гроши, которые могла платить Роза, были подспорьем актрисе, не имевшей побочных доходов, а театральный опыт Дюмонкур и ее влияние у дирекции значительно облегчали Адели возможность попасть в лучшую труппу того времени.

Для того чтобы сговориться об условиях, Роза пригласила актрису на ужин. Как сейчас помню этот вечер.

Был декабрь, на улице стоял довольно сильный холод, но в парадной комнате квартиры Гюс весело трещал в камине жаркий огонь. Роза хлопотала около стола, стараясь поэффектнее расставить тарелочки с закусками, я сидел около камина, отогревая замерзшие руки, а Адель нервно расхаживала по комнате. Девушка была взволнована, и на все попытки заговорить с нею отвечала резкими колкостями.

В назначенный час у входных дверей послышался стук молотка, и через несколько минут в комнату, в сопровождении выскочившей встречать ее Розы, вошла гостья. Это была женщина лет сорока пяти с открытым добрым лицом и живыми, умными черными глазами. Дюмонкур приветливо обняла Адель, ласково поздоровалась со мной и подошла к камину, чтобы погреться с холода. Поворачиваясь перед огнем, она весело болтала, жалуясь на мороз, на дороговизну жизни, на страшный рост нищеты, но все это говорила удивительно просто; вообще в ней совершенно не чувствовалась актриса.

– Уф! – сказала она наконец, отходя от огня и усаживаясь в кресло. – Вот теперь я согрелась!

– Дорогая мадам, – видимо волнуясь, сказала Роза, – как вы хотите: сначала закусим, а потом уж вы послушаете мою девочку, или, наоборот, сначала послушаете?

– Прежде чем послушать, мне надо хорошенько посмотреть на нее; может быть, и слушать-то не стоит! – с веселым смехом ответила актриса. – Ну-ка, крошка, подойди ко мне!.. Так! – продолжала она, внимательно посмотрев на Адель и окинув ее пытливым взглядом с ног до головы. – Теперь пройдишь спокойным шагом в тот угол и обратно... Отлично! Пробегишь теперь!.. Отлично, подойди поближе ко мне! Вот так! Я замахнусь на тебя, а ты сделай вид, будто испугалась. Подойди ко мне, дитя мое, и поцелуй меня: даже если у тебя нет ни капельки таланта, ты будешь иметь успех: ты красива, гибка и изящна! Да, дорогая Роза, – продолжала Дюмонкур, обращаясь к старухе, – для актрисы мало быть талантливой, надо обладать красотой. Возьмите хотя бы меня: моего таланта никто не отрицал, а все же из меня ничего не вышло. Искусство ценит один из сотни, остальные же девяносто девять ценят только женщину... Да, тут уж ничего не поделаешь, крошка! И мало быть красивой с лица: бывают женщины, которые кажутся ангелом небесным, пока сидят, но стоит им сделать два шага, как ангел превращается в неуклюжего медведя. Красивая женщина должна быть изящной во всех проявлениях. Все должно быть у нее красиво: походка, бег, радость, смех, слезы, ужас, испуг. Ты – счастливица, милованка, так как обладаешь всем, о чем я только что упомянула, и если твои внутренние художественные достоинства составляют хотя бы десятую часть внешних, то я ручаюсь, что ты сделаешь блестящую карьеру! А теперь прочти мне что-нибудь, крошка!

С трудом подавляя волнение, Адель начала читать монолог из «Федры» Расина.

Я слушал, затаив дыхание. Мне казалось, что Адель читает дивно, но, к моему удивлению, актриса, видимо, осталась не очень довольной.

– Недурно, – сказала она, когда Адель кончила и с тревогой уставилась на нее. – Но ты, должно быть, долго учила этот монолог? Ты, что ли, с ней проходила его? – обратилась она к старухе Гюс.

– Кому же, кроме меня, – застенчиво ответила Роза.

– Ну, так по этому я еще не могу судить: как тут разберешь, где учительница, а где ученица? Вот что, крошка: ты знаешь «Заиру» Вольтера?

– Да, – ответила Адель и показала на меня, – мы еще недавно читали ее с братишкой!

– Но ты не учила ее? Нет? Ну, так дай-ка мне книжку. Вот просмотри это место и прочти нам его. Ведь содержание ты помнишь, да? Ну, отлично!

Просмотрев указанный монолог, Адель принялась читать. Сначала она от волнения глотала слова, комкала фразы, но чем дальше, тем дело шло все лучше, и к концу Адель разошлась вовсю, так что заключила монолог таким всплеском глубокого, неподдельного чувства, соединенного с возвышенностью тона, что у меня даже слезы выступили на глазах.

Дюмонкур встала, расцеловала Адель и сказала:

– Я счастлива, что у меня будет такая ученица! Ну, а теперь, маленькое чудовище, давай мне свою хорошенькую ручку и веди меня к столу. Глубокое волнение вызывает сильный аппетит, а ты действительно взволновала меня своим чтением!

Быстро бежали дни, проходившие в каком-то приподнятом настроении. Теперь Адель часто не бывала дома. Днем она ходила к Дюмонкур, по вечерам частенько, по протекции учительницы, посещала театр, где из-за кулис следила за представлением. Я бывал счастлив, когда мне удавалось проводить ее на урок или побывать с нею вместе в театре; но первое бывало возможным только в праздники, а торчать постоянно за кулисами рядом с хорошенькой девушкой было неудобно. Да и счастье-то это было чисто теоретическое: много горьких минут приходилось мне пережить, когда я бывал где-нибудь с Аделью. На улице меня раздражало, что

мужчины заглядываются на нее и что Адель без зазрения совести строит им глазки, а в театре случалось встречаться кое с чем и похуже.

Помню, однажды мы были в театре все трое: Роза, Адель и я. Роза была, как всегда, по обязанности, я заговорился с Сесиль, которую там случайно встретил, а Адель под шумок куда-то исчезла. Представление кончилось, Сесиль простилась со мною и ушла, а я стал поджидать обеих Гюс.

– Где же Адель? – с удивлением спросила меня старуха, подходя ко мне.

– Но я думал, что она с вами! Пойдемте поищем ее! – тревожно сказал я.

Мы отправились на поиски, но Адели не было нигде. Наконец, проходя мимо груды старых декораций, сваленных в углу, мы услышали смех и шум борьбы.

– Это нечестно! Это уже против условий! – слышался задорный голос Адели.

– Адель, что ты тут делаешь? – крикнула Роза, бросаясь в угол. Увидав нас, какой-то старичок, покрывавший лицо и шею Адели горячими поцелуями, отскочил и быстро скрылся.

Роза схватила девчонку за руку и молча потащила из театра домой. Там она накинута на дочь с бранью и упреками.

– Да ты совсем с ума сошла, беспутная девчонка! – кричала Роза. – Ты не понимаешь, что делаешь! Да ты себя погубить хочешь, что ли? Позволяешь целовать себя черт знает кому...

– Пожалуйста, без глупостей, мать! – резко остановила ее Адель. – Не воображай больше того, что есть на самом деле. Это – вовсе не черт знает кто, а герцог Ливри, завсегда кулис, имеющий большой вес в дирекции!

– Но все-таки, Адель...

– Ничего не «все-таки»! Герцог уже давно увивается около меня. Сегодня он вдруг заявил мне, что охвачен непреодолимым желанием поцеловать меня. Я ответила, что в его возрасте это должно стоить денег. Он пришел в восторг, подарил мне луидор и выговорил себе право три раза поцеловать меня. Не виновата же я, что он стал вдруг совсем сумасшедшим и принялся целовать меня без счета! Я собиралась потребовать от него дополнительную плату, но тут черт принес тебя не вовремя!

– Но все-таки, Адель, – сказала сразу смягчившаяся старуха, – надо быть осторожнее: ведь от невинных поцелуев можно незаметно дойти до крайне серьезных положений!

– По-о-о-жалуйста! – пренебрежительно протянула Адель. – Я не осталась бы одна с герцогом в темном уголке, если бы не знала, что он совершенно безопасен для женщин, а для меня тем более! Ну, довольно об этом, я спать хочу! Ты скоро? Я иду. Покойной ночи, братишка! – и с этими словами Адель, как и всегда, когда бывала в хорошем расположении духа, подошла ко мне, чтобы обнять меня, и подставила лоб для поцелуя.

Но я резко отстранил девушку и желчно заметил:

– Не старайся попусту! От меня ты ни луидора, ни дополнительной платы не получишь!

Адель рассмеялась с оскорбительным пренебрежением и, пожав плечами, ушла в спальню, а Роза сказала мне:

– На девочку нельзя сердиться, милый месье Гаспар! Она идет своей дорогой, настоящей дорогой, месье, правильной!

Я встал и, не отвечая ни слова, ушел к себе. Полночи я горько проплакал, а остальную половину мучился в кошмарных сновидениях, непрестанно вертевшихся вокруг Адели. На другой день я должен был просить у нее прощения, так как не мог примириться с тем ледяным презрением, которым она меня встретила. Дня три Адель промучила меня, но потом милостиво простила: у нее вышли все засахаренные каштаны, поставлять которые лежало на моей обязанности.

Чем дальше шло время, тем атмосфера у нас в доме становилась все возбужденнее. Близились время, когда надо было хлопотать об открытом дебюте Адели, и дни проходили в бес-

конечных разговорах по этому поводу. Обсуждалось, что сказала учительница, что мимоходом кинул девушке театральный закулисный завсегдатай; приводились разные факты из деятельности театрального интенданта, маркиза Гонто, который не дал дебюта одной многообещающей актрисе только потому, что ее родители не поняли, чего хотел от них сластолюбивый маркиз. Но мало было пройти сквозь своеобразную цензуру интенданта: предстояла еще цензура публичного мнения, и можно было быть уверенным: если зрители почему-либо встретят дебют Адели холодно, то ей, девушке без всяких связей в высших сферах, не получить ангажемента.

Но мало было и успеха у публики: надо было еще добиться успеха у журналистов, и для того, чтобы читатели усвоили себе, насколько это было важно, необходимо дать в этом отношении кое-какие сведения.

В то время во Франции газетное дело было только в самом зачатке, не то что теперь или даже в эпоху консульства: Наполеон ухитрился прикрыть 60 столичных и 104 провинциальных газеты, причем еще осталось 13 первых и 28 вторых. А за сорок лет до этого, в то время, к которому относится мой рассказ, газет было всего две (из них одна официальная – «Французский Меркурий»). Несколько лучше обстояло с журналами – их все-таки выходило несколько штук. Но не эти газеты или журналы были страшны; по цензурным правилам того времени, частная газета или журнал не имели права высказывать свое мнение как в политике, так и в искусстве, а должны были поддерживать мнения, высказанные в официозе. Поэтому страшна была пресса, вызванная к жизни этим притеснением: лучшие, свободолюбивые умы того времени перебрались в Голландию, где и основали вольные, независимые органы французской мысли. Эти заграничные журналы имели в Париже своих корреспондентов и старались возможно полнее отражать все, касавшееся искусства. При этом авторы статей давали не казенное, а свое освещение художественных событий и нередко бранили артистов и пьесы только потому, что парижская пресса хвалила. Между тем иностранное общественное мнение гораздо больше прислушивалось к издававшимся в Голландии французским журналам, чем к парижским; поэтому, конечно, и приглашение на гастроли в иностранные государства в значительной степени зависело от мнения, составляемого за границей.

Считая, что Адель по красоте и таланту заслуживает европейского успеха, и понимая, что, каков бы ни был успех актрисы в Париже, ее всегда могут интригами удалить со сцены, где всем делом заправляли королевские чиновники, Роза и Дюмонкур были сильно озабочены тем, как отнесутся к дебюту Адели корреспонденты французских журналов, издаваемых в Голландии: вдруг они будут ругать ее только потому, что «Меркурий» похвалит? Значит, надо было постараться познакомиться с этими корреспондентами, расположить их в пользу Адели.

Эта забота была возложена всецело на меня.

Разумеется, я всей душой участвовал во всех этих волнениях и тревогах. Личной жизни у меня не стало с тех пор, как я переселился под кровлю Гюс. Все мое существование заключалось теперь в Адели. Как же мне было не волноваться и не хлопотать?

И все-таки я умышленно старался представить себе, будто предмет этих волнений – дебют Адели – еще очень далеко. Ведь я понимал, через что должна пройти Адель, пока попадет на сцену, понимал, какая жизнь начнется для нее со вступлением в ряды актрис. Я не представлял себе, как я переживу весь этот ужас, как примирюсь, что моя красавица-девочка пойдет по рукам обожателей! Единственным утешением было гнать от себя действительность и верить, что эта беда еще далека!

В самый разгар всех этих тревожений я получил письмо от большого друга дяди-аббата, лорьенского судьи, который извещал меня, что кюре Дюпре очень болен и хотел бы перед смертью еще разок повидаться со мной. Но я не мог уехать из Парижа. Моя воля была связана, нельзя было оставить обеих Гюс в такое тревожное время. Да и как я покажусь на глаза этому чистому, святому старцу? Под огнем его строгих глаз я не сумею утаить правду, а как омрачила бы эта правда последние минуты умирающего! Но я не сразу сдался; я проводил бессонные

ночи в мучительном колебании: а может быть, все-таки поехать? Так прошло две недели, пока новое письмо не положило конца моим бесплодным колебаниям: дяди Дюпре не стало, он тихо умер с моим именем на устах!

Это письмо я получил вечером. В одну ночь я осунулся и постарел под влиянием невыносимых укоров совести. Но днем вернулась сияющая Адель: Дюмонкур возила ее к герцогу де Грамон, у которого собралось несколько любителей искусства, Адель читала там, имела выдающийся успех, за нее обещали хлопотать, и учительница на обратном пути сказала ей, что считает теперь ее дальнейшие успехи несомненными.

Адель носилась по комнате, танцевала, пела, шалила. Заметив мое угрюмое, подавленное настроение, она недовольным тоном спросила, почему я так мрачен, и, когда я рассказал ей о постигшем меня горе, бессердечная девчонка накинулась на меня с упреками. Хорош тоже друг! У нее такое торжество, а он сидит и кукуется! Подумаешь, какое горе: умер никому ненужный восьмидесятилетний монах! Да если бы старики и старухи жили до бесконечности, куда было бы деваться молодым? – и так далее, и так далее...

Адель была бессердечна, зла, возмутительно себялюбива. Но она была прелестна, как ангел, и я любил ее. Подчиняясь ее требованию, я сверхчеловеческим усилием воли подавил в себе воспоминания о дорогом покойнике и опять ушел в вихрь забот и волнений о судьбе безжалостной волшебницы.

Дни летели, незаметно подкралась весна, а с ней и день рождения Адели. Я долго думал, что бы подарить ей. Я знал, что ей очень хотелось иметь сережки, и присмотрел у ювелира прехорошенькую пару с чудными рубинами; но они стоили около четырех луидоров, а я боялся истратить такую сумму – не жалел, а именно боялся.

Для Адели мне ничего не было жалко, четыре луидора не разорили бы меня, потому что у меня были сбережения, увеличившиеся еще на двадцать золотых монет, пересланных мне лорьенским судьей от имени и по просьбе покойного дяди-аббата. Но я боялся обнаружить таким богатым подарком свои маленькие средства. Я предчувствовал, что настанет момент, когда Адель будет покинута, будет нуждаться и когда мои несколько тысяч ливров (я надеялся скопить их) окажутся ее единственным подспорьем. А осведомить госпожу Гюс о моих сбережениях значило отказаться от этой надежды, потому что и мать, и дочь были до крайности безалаберны с деньгами: в понятиях «мое» и «твое» они плохо разбирались. Даже больше: Адель открыто исповедовала принцип: «что мое, то мое, что твое, то... тоже мое». Покажи им только дорогу к моим деньгам, так быстро растают мои сбережения!

И до самого кануна дня рождения Адели я ходил в озабоченном недоумении. На примете для подарка у меня было многое другое, но все казалось мне недостойным Адели. И кончилось тем, что я пошел и купил все-таки сережки.

Придя домой, я повертел их в своей комнате около огня, полюбовался на дивную игру камней, запер сережки в ящик и собрался выйти к Гюс, как вдруг до моего слуха долетели обрывки тихого разговора между дочерью и матерью. Последняя говорила:

– Просто не знаю, что и делать! Необходимо пригласить гостей, а не примешь же их кое-как, особенно теперь...

– Да ведь ты всего неделю тому назад получила от братишки? – послышался укоризненный голос Адели.

– Мало ли что! По теперешним временам деньги просто горят... Откуда бы достать?

– Да попроси у Гаспара! Он-то, наверное, не успел еще растратить свое жалованье!

– Неловко, милая, я и так забрала у него за два месяца вперед. Он ведь тоже не Бог знает сколько получает!

– Вот тоже пустяки – «неловко»! Велика важность! Хочешь, я попрошу? Мне-то он не откажет!

Я не стал дожидаться ответа старухи: мое решение было уже принято. Я вышел из своей комнаты и с самым невинным видом обратился к старухе:

– А у меня к вам просьба, дорогая мадам Роза. Я немножко раскутился в последнее время и остался без гроша. Не можете ли вы ссудить мне ливров десять дня на три? Я постараюсь достать в конторе и отдать вам!

– Господи, да откуда у меня быть деньгам! – с отчаянием ответила старуха, отмахиваясь от меня руками. – Я сама собиралась идти доставать деньги, только вот в голову не придет, у кого бы можно достать! Хотелось бы завтра справить день рождения дочери.

– Боже мой! – с отчаянием воскликнул я. – А я-то и забыл, что у нас завтра такое торжество! Вот не вовремя я раскутился!

Адель кинула на меня уничтожающий взгляд и ушла в спальню, кинув мне через плечо:

– А еще друг называется!

Вернувшись к себе, я втихомолку досыта посмеялся над разыгранной мною комедией. Я был доволен, что так удачно отразил попытку нападения на свой карман, и ликовал при мысли о той радости, которую доставит завтра Адели мой неожиданный подарок.

Действительно, ее радость была даже больше, чем я ожидал. Проснулся я на другой день ни свет ни заря и даже подосадовал: в будни просыпаешься с тяжелой головой, никак глаз не продерешь, а вот в праздник (день рождения Адели пришелся на воскресенье) заснуть не можешь!.. Несколько раз я выходил из своей комнаты в общую, но Адель не показывалась из спальни. Наконец я застал ее. Спрятав сережки в карман, я подошел к ней и сказал:

– Позволь мне, сестреночка, поздравить тебя с высокоторжественным днем твоего рождения и пожелать удачи и счастья!

– Спасибо! – высокомерно и сухо поблагодарила Адель, отворачиваясь от меня.

– А в ознаменование столь достопамятного события, разреши преподнести тебе вот этот пустячок! – не смущаясь продолжал я, доставая из кармана завернутые в розовую бумагу сережки.

Адель быстро обернулась, с некоторым недоумением взяла из моих рук пакетик, развернула его, вскрикнула и замерла с сережками в руках.

– Какая прелесть! – растерянно сказала она. – И это ты мне?.. Так вот почему, – крикнула она, – вот почему у тебя не оказалось денег вчера: ты истратился на меня! О, спасибо, спасибо, дорогой братишка! – и, прежде чем я успел предупредить ее движение, она кинулась мне на шею и крепко расцеловала меня.

Не могу передать вам, какая болезненная дрожь пронизала меня в тот момент, когда ко мне прижалось это гибкое, пышное, желанное тело! Мне хотелось схватить Адель, смять в объятиях, раздавить кошмарным поцелуем, но, прижавшись на миг, нервное, змеиное тело девушки сейчас же вывернулось из моих объятий: Адель кинулась к зеркалу, чтобы примерить мой подарок.

– Вот что, Адель, – сказал я, вытирая пот, проступивший на лбу, и с трудом переводя дыхание, – ты лучше... брось эти объятия и поцелуй... Теперь ты стала взрослой девушкой, и не годится тебе...

– Вот чушь! – небрежно оборвала меня Адель, надевая сережки. – Выросла я или нет, да ты-то разве мужчина для меня? Ты – братишка. – Она повернулась несколько раз перед зеркалом, любясь игрой камней, и с бессознательной жестокостью прибавила: – И никогда больше ничем для меня не будешь!

Вечером собрались приглашенные: старуха Гюс все-таки ухитрилась раздобыться деньжонками и устроила пир на славу. Был кое-кто из артистического мира; пришел писец секретаря маркиза Гонто; знакомый брата старшего режиссера, помощник суфлера – словом, влиятельные «низы». Позже всех явилась Дюмонкур и привезла радостную весть: маркиз Гонто

ничего не имеет против дебюта молодой актрисы, но должен сначала повидать ее и посмотреть, на что она годится.

При этом известии двое из мужчин сбегали в ближайший погребок и галантно притащили несколько бутылок дешевенького шампанского – «тизан», которое было тут же распито. С трудом дождавшись удобного момента, я скрылся к себе в комнату. Напрасно я ободрял себя мечтой, будто развязка далеко: вот она уже стояла перед моими глазами! Точно я не понимал, что значит: «Маркиз должен сначала повидать ее и посмотреть, на что она годится»...

Через несколько дней Роза повела в назначенное время Адель к маркизу Гонто. Уже много лет спустя Адель рассказывала мне о том, как принял их главный интендант. Впрочем, я уже оговаривался в начале, что буду передавать события не в том порядке, в каком мне удавалось их узнавать, а в том, в каком они случались на самом деле.

Перед этим страшным визитом Роза придела Адель, и девушка была такой хорошенькой, что у меня просто сердце разрывалось при взгляде на нее. В приемной, ожидая, пока маркиз примет их, Адель подошла к громадному венецианскому зеркалу и даже отскочила от изумления: она не узнала самой себя. Волнение слегка тронуло румянцем ее матовые щеки и расширило зрачки васильковых глаз, в минуты нервного напряжения становившихся сапфировыми, а золотистые локоны удивительно картинно оттеняли классически правильные черты ее лица.

В кабинете маркиза уже находился кое-кто из уважаемых артистов, несколько театральных чиновников и два-три признанных ценителя искусства. В середине, в глубоком кресле сидел сам маркиз. Он был уже очень немолод, но его возраст искусно скрывался под заботливой холерностью лица. Держался он прямо, двигался с гибкостью юноши в расцвете лет, отличался изысканными манерами, сквозь безукоризненную вежливость которых просачивалось надменно-высокомерное отношение ко всему и всем. Лицо было скорее красиво, только умные глаза отталкивали светившейся в них холодной жестокостью. Да, жестокость, пожалуй, и была отличительной чертой характера маркиза, даже не жестокость, а полнейшее равнодушие к чужим страданиям. Вообще маркиз Гонто был типичным сыном своего века. Атеист, циник, сладострастник, он смеялся над всеми священными проявлениями человеческих чувств и все решительно мерил мерой собственного удовольствия.

В ответ на низкий, почтительный поклон вошедших маркиз с изящной небрежностью кивнул головой и сказал:

– А, вот и вы! Отлично, отлично, подойдите сюда, ми...

Тут он взглянул на Адель, и слова замерли у него: маркиз ожидал увидеть смазливенькую уличную девчонку, а увидел сказочную принцессу, легендарную фею.

От восхищенного удивления маркиз даже приподнялся на локтях.

– Так вот ты какая! – пробормотал он. – Ну, подойди же поближе, крошка!

Когда Адель подошла ближе к столу, маркиз задал ей ряд вопросов, касавшихся подготовки ее к сцене. Адель ответила ему обстоятельно и дельно, что сначала с нею занималась мать, сама бывшая когда-то актрисой, потом госпожа Дюмонкур, а общее образование она получила под руководством специально нанятого учителя (это я-то!).

Затем приступили к экзамену, который особенной строгостью не отличался: по всему было видно, что решение маркиза уже принято и что испытание – просто формальность. В самом непродолжительном времени маркиз кивком головы отпустил мать и дочь, небрежно кинув, что он в свое время известит их о результатах их ходатайства.

В прихожей Гюс нагнал изящный молодой человек; он отрекомендовался секретарем маркиза и сказал Розе:

– Его сиятельство просил передать вам, что он не успел составить себе достаточное представление о пригодности барышни для сцены и желал бы, чтобы она еще раз прочитала ему что-

нибудь из подготовленного репертуара. Будьте добры сообщить мне ваш адрес; завтра вечером в восемь часов маркиз пришлет за барышней свою карету... Ваше присутствие, мадам, будет совершенно излишне, так как та же карета доставит барышню домой!

Роза просияла, рассыпалась в благодарностях, а Адель вдруг почувствовала себя скверно. Она была достаточно осведомлена в вопросах греха, но слишком отвлеченно, так сказать, головой. А тут ее молодое тело вдруг взбунтовалось и запротестовало против того, что ждало ее... Как бы испорчена, распущена ни была девушка, но в ее душе все же найдется уголок, отведенный грезам о любви, о поэме первого бескорыстного увлечения; начинать же с любви по необходимости – это тяжело каждой девушке, если только она по праву носит это имя...

На следующий день старухе Гюс с утра пришлось рыскать по городу, чтобы достать денег: нельзя было отпустить Адель кое-как, надо было купить ей тонкое белье, новые туфельки и нарядную шляпку. Когда я вернулся из конторы, Розы и Адели еще не было. Прислуга подала мне холодного мяса, я кое-как закусил и стал с тоскливым отчаянием дожидаться возвращения своих хозяек. Наконец явились и они – радостно оживленные рысканием по магазинам. Затем начались сборы. Роза приготовила для дочери ароматную ванну, втерла ей в тело благоухающее масло, расчесала, подвила и собрала в кокетливую прическу золотистые волосы девушки. Я слышал из своей комнаты оживленный, веселый голосок дорогого мне существа и мучительно думал:

«Неужели она не испытывает ни страха, ни ужаса перед предстоящим ей? Пусть этот позор вынужден, но неужели она так и пойдет на него с холодным спокойствием бывалой женщины?»

За полчаса до восьми Адель была готова, и меня кликнули, чтобы я пришел полюбоваться на принаряженную девушку. Адель была хороша, как куколка, но мне она в этом виде понравилась несравненно менее, чем в обычном домашнем наряде. Впрочем, о моем впечатлении никто и не спрашивал: Адель была в возбужденно-шаловливом настроении. Она кружилась по комнатам, весело напевая какую-то песенку, или принималась разыгрывать в лицах ту комедию, которая должна будет разыгаться у нее с маркизом. Она копировала Гонто, изображала, как она будет сидеть на кончике стула, с пугливой наивностью опустив взоры, и как маркиз будет подбираться к ней. Странное дело! Ведь Адель в то время о многих сторонах жизни не имела ясного представления, а между тем она поразительно копировала старческую похотливость Гонто. Это была великая актриса, которая умела чутьем находить верный тон в изображении даже того, чего она не могла знать по опыту.

И вдруг среди этих забав раздался стук, в комнату с надменным видом прирожденного аристократа вошел нарядный ливрейный лакей и торжественно провозгласил: «Карета его сиятельства маркиза Гонто к услугам девицы Гюс!» – и, грациозно поклонившись, отошел обратно к двери.

При этих словах Адель смертельно побледнела; ее глаза потемнели, а руки с мучительной скорбью схватились за сердце. Я невольно перевел взор на Розу: даже эта старая мегера взволновалась, подбежала к дочери, обняла ее и чуть не плача шепнула:

– Что же делать, доченька, так надо! Авось хоть он не будет чересчур жесток с тобой...

Роза хотела сказать еще что-то, но у нее в горле заклокотали подавляемые рыдания, и она невольно замолчала.

Нерешительная слабость девушки продолжалась одно мгновение. Она отстранила мать и ледяным тоном сказала куда-то в пространство: «Надо... а что надо, то надо»... – после чего подошла к двери и таким королевским взглядом окинула с ног до головы лакея, что тот даже пригнулся.

– Ну, что же вы стоите, как дубина? Откройте дверь! – надменно крикнула она, и лакей кинулся подобострастно исполнять ее приказание.

Мы с Розой вышли проводить Адель. Карета скрылась из глаз, а мы со старухой все стояли и смотрели ей вслед. Я первый очнулся от этого забытья, заложил руки в карманы и ушел в ближайший кабаk. Что там происходило, я плохо помню, потому что через полчаса я напился почти до бесчувствия. Помню только, что я очутился в отдельном кабинете с какой-то женщиной, что я рыдал и выкрикивал какие-то бессвязные проклятия, а сидевшая со мной женщина обнимала меня и равнодушно твердила:

– Наплюй на них, голубчик, лучше выпьем! И я опять принимался за вино.

Не помню, когда и как добрался я до дома: очнулся только через неделю. Как оказалось, я схватил жесточайшую горячку.

Во время болезни Роза почти безотлучно находилась при мне и пестовала, как родная мать. Заходила и Адель. Она казалась мне более бледной, повзрослевшей; что-то скорбное, задумчивое, серьезное было в ее лице. Заходила она на минуточку, с легким смущением встречала мой взгляд и под первым удобным предлогом спешила уйти.

Я пролежал в кровати пять недель. В течение этого времени карета маркиза Гонто четыре раза приезжала за Аделью. Но вот однажды я услышал, как в соседней комнате Адель тихо сказала матери:

– Ну наконец-то я избавилась от этой ужасной обезьяны! Я уже начинала бояться, что он серьезно привяжется ко мне, но на мое счастье Гонто обратил благосклонное внимание на новую балерину Виченца и занимается теперь с нею, а мне говорили, что эта обезьяна никогда не возвращается к прежним увлечениям!

– О, нет, никогда! – подтвердила мать. – Да и к чему ему это? Ведь постоянным предметом его страсти служит Колетта, а для развлечения хватит бесконечного притока свежих сил!

– Ну, и отлично, если так! – со вздохом сказала девушка, а затем у нее вдруг с непривычной искренностью вырвалось: – Ах, мать, мать! Какие скоты эти мужчины и какая грязная история эта их любовь!

Уже на следующее утро после подслушанного разговора в моем здоровье обнаружилось громадное улучшение, а через три дня я мог понемногу вставать.

«Договаривающиеся стороны», как говорим мы, юристы, честно исполнили принятые на себя обязательства. Адель добросовестно заплатила за право выступить на сцене, и маркиз не обманул ее: девушка получила дебют в пьесе «Заира», назначенный на один из ближайших вслед за Пасхой дней. Таким образом маркиз теперь уже умывал руки: все дальнейшее должно было зависеть от исхода дебюта.

Чем ближе надвигался этот страшный, решительный день, тем более волновались Адель и я. Я волновался от мысли, что не успею окончательно оправиться ко дню первого выступления любимой девушки, ну а о причинах волнения дебютантки и говорить нечего: они понятны сами собой. Только Розе некогда было волноваться: она хлопотала не покладая рук: оказывала услуги жене старшего режиссера, навещала заболевших детей суфлера, осыпала тончайшей лестью будущих партнеров Адели – словом, тщательно подготавливала почву.

Недели за две до дебюта, когда я уже мог хотя и с некоторым трудом передвигаться по комнатам, Роза завела о дочери такой разговор:

– Милая Адель, присядь и выслушай меня внимательно и терпеливо! Ты стоишь сейчас на пороге новой жизни и должна подумать, с чем и как ты вступишь в эту жизнь. Я знаю, ты волнуешься за исход своего дебюта. Ну, а я так вовсе не боюсь за твой успех, потому что ты красива и талантлива. Но вот что будет потом – об этом надо подумать теперь же. Ну, хорошо, тебя пригласят на сцену, ты будешь артисткой. А дальше? Если жить на те жалкие гроши, которые платят у нас, во Франции, то не стоило и хлопотать так много. Да на них и нельзя прожить: одни туалеты съедят вдвое больше. Актриса живет поклонниками, богатыми поклонниками, душа моя!

– Ну, все это я уже тысячу раз слышала! – резко ответила Адель. – Дальше-то что? Выкладывай прямо, куда ты клонишь? Опять к кому-нибудь на продажу повести хочешь? Ну так выбрось это из головы: пока этого не будет! Так в чем же дело?

– Хорошо, пусть пока этого не будет. Но помни: ты должна стремиться к тому, чтобы обеспечить себе и своей старухе-матери спокойную, довольную жизнь. Между тем в настоящем положении ты лишена возможности окружить себя таким обществом, которое почтет за честь осыпать тебя подарками за одно удовольствие видеть. Представь, кавалер захочет поднести тебе букет. Что же, он понесет цветы на эту грязную уличку, в эту убогую квартирку? Отправишься ты с компанией в кабачок. В чем ты поедешь? В скромном платье мелкой модистки?

– Да не мямли ты, говори скорее! – нетерпеливо оборвала Адель мать. – В чем дело-то?

– Дело в том, что у меня, как ты знаешь, есть небольшой капиталец, на проценты с которого я могу спокойно прожить до смерти. Но, если вынуть деньги из того предприятия, куда поместил их месье Гаспар, если обратить их на то, чтобы сразу создать тебе богатую рамку, то через полгода-год ты с громадной лихвой вернешь эти деньги обратно.

– Ну, разумеется! – воскликнула Адель. – Это так ясно, что тут и думать нечего!

– Э, нет, дочка милая! – возразила старуха, покачивая головой. – Ты вот и теперь, когда от меня зависишь, так обращаешься со мной, как в хороших домах и с прислугой не обращаются. Что же будет со мной, когда я истрачу на тебя все свои деньги? Да ты меня просто из дома выгонишь! Нет, милая моя, дай мне сначала клятву перед образом, что ты честно будешь передавать мне все деньги, которые получишь, что ты, и в славе не выйдешь из повиновения мне! Вот тогда я рискну своими деньгами!

– Вот как! – с язвительным хохотом ответила Адель. – Я буду работать, а ты будешь пользоваться?

– Я ни в чем не буду стеснять тебя! Ты будешь иметь нарядные туалеты, лошадей, драгоценности, словом – все! – поспешила сказать мать. – Тебе даже лучше будет: ведь этим ты будешь избавлена от хлопот – живи себе припеваючи, словно барыня!

– Ну уж нет, этого не будет! – вспыхнула девушка.

– Не будет, так не будет, – спокойно отозвалась мать. – Как хочешь! Только тогда и с моей стороны тебе ничего не будет. Я добросовестно поставила тебя на ноги – теперь справляйся сама, как знаешь!

– И справлюсь! – вызывающе буркнула Адель.

– Пожалуйста, справляйся! После дебюта тебя, наверное, пригласят ужинать: отправляйся на этот ужин в том платье, в котором ездила к маркизу. Правда, это платье кое-где помялось, кружево в двух местах порвалось: ничего, можно разгладить и подштопать... И не по сезону это платье; тоже правда. Ну да что требовать с бедной начинающей актрисы!

Адель окончательно раскипятилась, обрушилась на мать с самыми страшными проклятиями, угрозами. Старуха спокойно выслушала все это, она знала, что Адель в конце концов должна будет согласиться. И Роза не ошиблась: уже на следующий день Адель дала требуемую клятву. Она оговорила только, чтобы все сдаваемые ей суммы и производимые матерью траты записывались в специальную книгу, вести которую должен буду я. Мне, конечно, это было очень не по сердцу. Но разве я мог в чем-либо отказать Адели?

Успокоившись за свою судьбу, Роза вынула пристроенные мною деньги из предприятия, сняла хорошенькую квартирку в приличном квартале и со вкусом обставила ее. В новой квартире у Адели были три комнаты с отдельным ходом: спальня, будуар и столовая-зал. Кроме того, были комнаты – для меня, для старухи и одна общая. Специально для Адели была взята хорошенькая, бойкая камеристка Мари. Словом, дом, что называется, был сразу «поставлен». О том, что комнаты Адели представляли собою нарядные бонбоньерки, что ее платяные и бельевые шкафы ломились от нарядов, и говорить нечего!

Но Адель почти не обратила внимания на все это великолепие: до дебюта оставалось очень немного времени, и с каждым днем ее волнение все возрастало. Она бегала по своим трем комнатам, словно разъяренная тигрица, швыряла все, что попадало ей под руку, и только в один последний перед дебютом день мне пришлось внести в графу расходов следующую статью: «Покупка двух новых ваз, шести стаканов, графина, двух ламп, разбитых Аделью, а также переобивка изодранного кресла – 29 луидоров 16 ливров и 8 денье».

Мне и Розе лучше было не попадаться девушке на глаза: одна из ламп и два стакана были разбиты при попытках матери образумить Адель. Но девушка действительно была как безумная: ею вдруг овладевала непонятная уверенность, что она читает роль отвратительно, что она и шага не сумеет ступить на освещенной сцене, что она обязательно провалится. Бывали моменты, когда она серьезно размышляла, не лучше ли сразу отравиться, чем дожить до такого позора!

По временам я и Роза слышали, как Адель начинала читать какой-нибудь монолог из своей роли, потом внезапно обрывала, топала ногами, кричала: «Не то! Совершенно не то!» – и заливалась слезами. Иногда к этим звукам примешивался звон разбиваемого стекла. В таких случаях старуха поднималась, осторожно подкрадывалась к дверям Аделиной половины, потом, заглянув туда, на цыпочках возвращалась обратно и говорила: «Слава Богу, это только стакан!» – или с сокрушением: «Боже мой! Еще одна фарфоровая лампа полетела на пол!»

Так приближалось время дебюта.

Настал наконец и этот знаменательный момент!

Весь день Адель пролежала в кровати с адской головной болью. Когда она к вечеру оделась, то я был поражен мертвенной бледностью ее лица. Глаза горели безумным огнем, громадные черные круги траурной каймой окружили их. Увидев меня, она поманила меня пальцем, а когда я подошел, крепко схватила мою руку ледяными пальцами и мертвым голосом прошептала:

– Братишка, ты должен быть со мной на счастье! Ох, я, кажется, умру...

Тут у нее закружилась голова, она чуть не упала.

Я подвел Адель к креслу, она опустилась на подушки и просидела в безнадежной неподвижности до того момента, когда надо было ехать в театр.

Всю дорогу она молчала, беспомощно сжавшись в углу кареты. Молчала она и в уборной: ни звука не доносилось до меня из-за занавески, за которой возле дебютантки хлопотала сначала камеристка, потом парикмахер. Несколько раз забегал режиссер, делал замечания насчет грима или деталей туалета и стремглав улетал дальше. Зашла Дюмонкур, чтобы благословить свою питомицу на дебют, но, видя, до чего доходит волнение девушки, опытная актриса, которая лучше всякого другого понимала душевное состояние дебютантки, поспешила уйти.

Наконец из-за занавески показалась Адель. Она была еще бледнее, чем раньше, и ее бледности не скрывал даже грим. Она была так слаба, что еле держалась на ногах. Бессильно упав в кресло, она уныло шепнула пересохшими губами:

– Я не могу играть... Боже мой, Боже мой, что будет со мной! Тут уж побледнел и я: но ведь она и в самом деле не может играть! Что же будет?

Вдруг дверь с треском распахнулась, показалась растрепанная голова сценариста, который крикнул:

– Мадемуазель Гюс, на сцену!

Адель вскочила, словно ее ужалила змея. Она сразу преобразилась: не было следа бледности, расслабленности, нерешительности. Возбужденные глаза стали еще больше, чем всегда, и светились уверенностью и торжеством. Спокойно, словно ни в чем не бывало, она повернулась перед зеркалом, осмотрела себя с ног до головы и сказала, подходя ко мне:

– Ну, братишка, руку на счастье!

Сценариус снова влетел в комнату и с отчаянием крикнул:

– Да на сцену же, черт возьми!

– Иду, иду! – со спокойной улыбкой ответила Адель и твердой поступью вышла из уборной.

Я так и остался сидеть на месте, пораженный этой волшебной переменой. От недавней болезни и пережитого волнения я чувствовал себя разбитым и слабым. Не знаю, сколько времени просидел я в полном упадке физических и моральных сил. Вдруг странный шум, раздавшийся издали, заставил меня вскочить и прислушаться. Сначала это был какой-то сухой треск, который быстро стал нарастать и перешел в целую бурю. В этом шуме было что-то похожее на голос моря, бившегося о скалы в милом Лориене.

Мимо дверей уборной кто-то прошел, и я услышал голос, говоривший:

– Кто бы мог подумать! Ведь на генеральной репетиции крошка Гюс играла из рук вон плохо!

Так это аплодировали Адели?

Не помня себя от восторга, я кинулся к боковым кулисам.

Я не знаю, скажут ли что-нибудь читающему эти строки два слова: «Вольтер» и «Заира», которые в то время глубоко волновали весь Париж? Ведь людская слава изменчива, и вчерашние кумиры уже завтра обрастают мхом забвенья. Еще недавно парижане с восторгом заучивали наизусть красивые строки из комедий Грессэ, а теперь разве только школяры знают, что есть такой писатель. В мое время весь Париж распевал арии из оперы Гретри «Ричард Львиное Сердце», а теперь их нигде и не услышишь. Так и с Вольтером. Как знать, может быть, подрастающее поколение уже развенчивает его?

Впрочем, и в то время далеко не все одинаково смотрели на великого писателя. Одни преклонялись перед ним, другие язвительно вышучивали и называли увлечение парижан трагедиями фернейского старца просто временным умопомешательством. Поэтому, принимая во внимание, что в то время, которое я описываю, значение Вольтера было очень велико и что потомки могут и не знать его, я на всякий случай скажу несколько слов как о самом авторе «Заиры», так и об этой пьесе. Последнее необходимо хотя бы для того, чтобы полнее уяснить читателю торжество Адели.

Право, даже затрудняюсь сказать вам, что за человек был этот Франсуа Аруэ (настоящее имя Вольтера). Что это был большой талант, в этом сомнений быть не может. Но разве талант заключается только в умении красиво излагать свои мысли? Разве не должны эти мысли служить ко благу человечества? Да, как писатель Аруэ был бесспорно велик, но как общественному деятелю, как человеку ему кое-чего не хватало. И это «кое-что» станет нам ясным, если мы обратим внимание на странную двойственность его поведения.

Вольтер был большим драматическим мастером, его трагедии пробуждали в обществе благородные мысли и желания. И он же написал отвратительную, кощунственную поэму, в которой вывел Орлеанскую Деву под видом низкой уличной развратницы. Но ведь каждый народ должен иметь свою легенду, своего героя, светлые странички в прошлом: это помогает ему терпеливо переносить бедствия момента. Так честно ли разрушать в нем веру в этого героя, в это светлое прошлое?

Вольтер страстно громил тиранов, призывал народы освободиться от гнета единодержавия – и он же все время терся около венценосных особ, заискивая в их милости. Он играл скверненькую роль при маркизе де Помпадур, превознося в стихах мнимые достоинства этой нечестивой Иезавели, домогаясь милостей Людовика XV. Когда ему это не удалось, он отправился к прусскому королю Фридриху II. Поссорившись с ним, Вольтер заискивал перед русской императрицей. Когда я впоследствии попал в Россию, мне случайно удалось ознакомиться с некоторыми из его писем к Екатерине II, которых императрица отнюдь не скрывала. Еще

бы! Посмотрели бы вы на эти письма!.. Более подлую и беззастенчивую лесть мне в жизни не приходилось читать. Вольтер называл русскую императрицу «пресвятой владычицей снеговой», писал, что она выше Солона, Ликурга, Петра Великого, Ганнибала, выше всех святых, и только одна Богородица может сравняться с нею; он удивлялся, как это Екатерина II нисходит до переписки с таким «старым вралем» и «старой тварью», как он, Вольтер. И все это он делал из-за тех подачек, которые слала ему довольная императрица!

Всех примеров странной двойственности его мысли и дела не перечтешь. Укажу только еще на один разительный случай, который особенно подчеркивает разногласие между принципами и поступками Франсуа Аруэ.

Вольтер много страдал от цензурных стеснений и горячо восставал против ограничений свободы слова. Но когда его трагедия «Семирамида» прошла в Париже без успеха и Монтиньи, по обычаю того времени, написал на нее пародию, то Вольтер до тех пор хлопотал, заискивал, лебезил перед Помпадур и высшими чинами двора и правительства, пока ему не удалось добиться королевского указа, запрещающего представление на сцене невинной пародии.

Да, вот каков был Вольтер! Даже я, его современник, не могу разобраться в его личности, и потомству тем не менее не составить себе ясного взгляда на него.

Но если рассматривать Вольтера исключительно по его творениям, то можно только поклониться перед ним. Его влияние на умы того времени было огромно. Своими «Философскими письмами», в которых описывалось политическое устройство Англии, он пробудил во французском читателе сознательное недовольство тем строем, при котором какая-нибудь Монтеспан или Помпадур могла жиреть и обогащаться за счет соков истощенного народа. Эти мысли были еще округлены рядом трагедий, в которых Вольтер косвенно нападал на фанатическую нетерпимость католицизма, на подавление мысли, на засилье высшего дворянства, и многие стихи из его трагедий с торжеством повторялись тысячами уст бесправных французов, как повторялись, например, следующие строки из «Магомета»:

Все смертные равны; различье не в рожденье,
А в добродетели высокой проявление.

Вообще творения Вольтера популяризовали в широких массах освободительные идеи, и Франция много обязана ему тем, что впоследствии стала тем центром, из которого лучами распространились по всему миру призывы к свободе, равенству и братству.

Такова была и его трагедия «Заира». В ней глубокая мысль счастливо сочеталась с поразительной красотой стиха и вулканической страстью.

Немудрено, если публика всегда горячо принимала ее представления.

Вкратце сюжет трагедии «Заиры» таков. У иерусалимского султана Оросмана в плену две рабыни – Фатъма и Заира, несколько французских рыцарей, среди которых выделяется благородный Нерестан, и престарелый Лузиньян, потомок былых иерусалимских королей. Фатъма и Заира в детстве были христианками, но они не помнят этого и не знают своего происхождения.

Оросман под честное слово отпускает Нерестана во Францию, где последний надеется достать средства на выкуп остальных пленных. Благородный и великодушный рыцарь сдерживает свое слово и возвращается в Иерусалим, но он не достал достаточно денег, чтобы выкупить всех: он считает, что в плену должен остаться он один. Но Оросман не желает, чтобы француз превосходил его в великодушии, и отпускает не только всех условленных, но и самого Нерестана, а также и многих других. Только одной Заиры он не отпускает: они любят друг друга, и Заира должна вскоре стать законной женой султана.

Случайная встреча Лузиньяна с Заирой и Нерестаном открывает первому глаза на то, что Заира и Нерестан – его дети, которых он считал погибшими. Лузиньян умоляет Заиру отказаться от любви к иноверцу, но Заира слишком любит султана и колеблется.

Центр действия трагедии – борьба Заиры между двумя чувствами. Она ничего не решает, она хочет сначала посмотреть, сумеет ли католический священник пробудить в ней достаточно решимости: когда она спросила брата, чего потребует от нее христианская религия, тот ответил: «Чтобы ты возненавидела врагов веры». И вот эта-то ненависть, столь противная духу истинного христианства, и увеличивает колебание девушки. Но она все-таки хочет попытаться. Однако Оросман из ревности убивает Заиру: ведь она по требованию отца и брата скрыла от жениха тайну своего происхождения, и султан заподозрил, что она обманывает его с Нерестаном.

Чуть ли не впервые в этой трагедии со сцены к зрителям говорил магометанин, отличающийся высокой добродетелью: до того иноверцев непременно выводили отчаянными злодеями. Кроме того, Вольтер ясно показал в этом произведении, что и магометанин может обладать более широкими взглядами, чем христианин, если последний превращает христианство в католичество, то есть смотрит на жизнь не глазами Христа, а надетыми на них уродливыми очками патеров-иезуитов. Ведь вся трагедия Заиры в том, что ее отец и брат – узкие католики. И не в пользу последних разница отношений друг к другу султана и французского рыцаря: первый уважает во французах достойных противников, второй видит в мусульманах злых врагов. И Вольтер ясно показал современному обществу, что заветы Христа касались только мыслей и поступков, а никак не фанатического следования определенному ритуалу: Богу все равно, на каком языке и какими словами люди будут молиться Ему, лишь бы их жизнь согласовалась с требованиями добродетели. Вот что представляла собою трагедия «Заира». Теперь возвращаюсь к Адели.

Хотя на первом представлении я и пропустил первую сцену первого действия, но впоследствии я так часто видал Адель в этой роли и так много было разговоров о ее дебюте, что теперь я могу объяснить причину услышанных мною аплодисментов так, как если бы сам сидел в зрительном зале.

Первая сцена застаёт Заиру в разговоре с Фатмой. Фатма удивляется, что Заира переменилась: она более уже не плачет, не рвется к берегам Сены. Заира отвечает ей с ленивой мечтательностью. Но Фатма допытывается, она касается отношений султана к подруге. И вот тут-то Заира вся вспыхивает, загорается. Ее голос рокошет сдержанными переливами страсти, когда она говорит о том, как прекрасен Оросман.

До Адели эту роль играли совершенно иначе: актрисы с самого начала брали высокий, напыщенный тон, и красота этого монолога пропадала. Поэтому публика, привыкшая чувствовать пылкость Заиры с первых слов, вначале отнеслась к игре Адели с недоуменной холодностью. Но когда в признании Заиры бриллиантовыми искорками вспыхнула и загорелась страсть, публика сначала замерла, а потом разразилась бешеными аплодисментами. Теперь успех Адели был уже свершившимся фактом и с колоссальной скоростью рос по мере развития действия. Диалог Заиры с Оросманом в интерпретации Адели приобрел такую красоту, Адель показала такую гибкость интонаций, столько красивой, сдержанной страсти, что публика не захотела после ее ухода со сцены слушать разговор султана со своим другом, заглушая слова артистов неистовыми вызовами Гюс.

Великолепный, выигрышный монолог Оросмана, которым кончается первый акт, был смят и пропал: публика требовала Гюс, Гюс и Гюс!

Дальше продолжалось то же самое. Артисты играли великолепно, но публика зевала, пока на сцене не показывалась Адель, и аплодисментами по ее адресу заглушала других артистов, когда дебютантка уходила за кулисы. Второй акт, где Заира находится в нерешительности между своей любовью к султану и дочерними обязанностями к Лузиньяну, требующий от артистки непрерывной игры, был сплошным триумфом Адели.

Я стоял около боковых кулис, слушал ее и не замечал, как по щекам у меня текли слезы восторга.

После коротенького третьего акта к Адели в уборную явилась целая группа аристократов, предводительствуемая старым герцогом Ливри, тем самым, который несколько лет тому назад во мраке кулис целовал Адель за деньги и поцелуи которого впервые вызвали во мне ревность по отношению к моему кумиру.

– Обожаемая! – засюсюкал старик, со старческой чувственностью осыпая руки Адели поцелуями. – В память нашего старого знакомства я разрешил себе привести сюда этих господ, которые спешат выразить вам свой восторг и удивление. Париж уже давно не видал ничего подобного... Однако мои друзья выражают нетерпение... Позвольте представить вам, обожаемая, доблестного маршала де Рогана, принца Субиза!

Пятидесятилетний маршал с изысканностью старого придворного склонился перед Аделью и галантно поцеловал протянутую ею руку.

Я просто диву давался: откуда у этой уличной девчонки взялось такое благородство манер, такая самоуверенность движений!

– Я счастлив поклониться одним из первых только что взошедшей, но уже ярко сверкающей звезде родного искусства! – сказал принц. – Я горжусь, что живу в одно время с нею!

– О, ваша светлость, – ответила Адель, – это я должна гордиться тем, что имею счастье видеть перед собою славного воина, оплот моей родины!

– Что за женщина, что за женщина! – воскликнул Ливри, восхищенный ответом актрисы. – Боже мой, сколько даров в одном существе! Талант, красота, грация, ум! А страсть! Меня особенно пленила страсть, которая так ярко блистала в Заире!

Адель надменно, искоса взглянула на сюсюкающего старичка. Тон, которым она ответила ему, еще более подчеркивал разницу между ее предыдущей манерой разговора с маршалом и тем почти оскорбительным пренебрежением, с которым она третиговала Ливри.

– О, это вовсе не удивительно, герцог, – сказала она, – мы всегда восхищаемся в других тем, чего нет в нас самих!

Ее остроумный и меткий ответ вызвал громкий хохот присутствующих.

– Но позвольте, герцог, – недовольно сказал молодой человек лет тридцати с лишним худощавый, стройный, даже довольно красивый, если бы только его правильного лица не портили глаза, светившиеся холодной жестокостью и подозрительностью, – позвольте, герцог, ведь вы, кажется, хотели представить нас, а вместо того сами занимаетесь разговором!

– Бога ради, простите, милый де Сартин, – спохватился герцог, – но ведь эта злая волшебница хоть кого с толка собьет! Позвольте представить вам, божественная, нашего генерал-лейтенанта парижской полиции, господина де Сартина!

Сартин в свою очередь приложился к милостиво протянутой руке и обменялся с Аделью несколькими изысканными фразами.

Вслед за ним Ливри назвал еще ряд фамилий, и в воздухе так и засверкали эффектные титулы, имена старейших французских родов.

Когда представления были закончены, Ливри снова повел речь.

– А теперь, дорогая мадемуазель Гюс, – сказал он, – позвольте мне от имени всех представленных вам предложить вам разделить с нами скромную трапезу после окончания спектакля: мы непременно хотим отпраздновать удачу вашего дебюта! Не томите же нас, божественная, удостойте согласием!

– Я очень благодарна вам, господа, – с милостивым кивком головы ответила Адель, – но...

Она остановилась, увидев, что дверь уборной распахнулась, пропуская новое лицо.

Это был молодой человек лет двадцати пяти, стройный, гибкий, одетый со всей изысканностью щеголя того времени. Его нежное, словно у девушки, лицо дышало умом и благородством, серые, полные веселой отваги глаза горели восторженным огнем.

– Ба, да это князь! – воскликнули присутствующие. Ответив им молчаливым кивком головы, князь подошел к Адели и с почтительным поклоном начал:

– Сударыня...

Но Адель царственным жестом остановила его и надменно кинула:

– Сударь, я не имею привычки говорить с незнакомыми людьми!

– Но ведь это – князь Дмитрий Голицын, посланник ее величества императрицы! – с каким-то испугом сказал де Сартин.

– Князь – посланник в своем посольстве, – холодно оборвала генерал-лейтенанта Адель, – здесь же вы все – только мои гости, прошу не забывать этого!

Девчонка играла в смелую игру! Я в то время сильно испугался за нее, но потом оказалось, что подобный тон сразу создал ей выгодную позицию: чем больше женщину уважают, тем она дороже стоит.

Князь Голицын, известный дипломат, ученый и писатель, был слишком умен, чтобы не суметь с честью выйти из создавшегося положения. Он почтительно поклонился Адели и обратился к Ливри со следующими словами:

– Не возьмете ли вы, дорогой герцог, на себя труд представить меня барышне?

Ливри охотно согласился на это.

Когда Голицын был представлен, он сказал:

– Извиняюсь, сударыня, если я ненамеренно оскорбил вас. Но ваши сотоварки, приезжающие к нам в Россию, да и те, которых я знаю здесь, не придерживаются подобной строгости: у сцены имеются свои вольности. Однако, раз вы не хотите их допускать, это – ваше право, перед которым я преклоняюсь. Надеюсь также, что просьба, с которой я хотел обратиться к вам, не будет сочтена вами за оскорбление. Я хотел просить вас разрешить мне чествовать ваш блестящий дебют...

– Ужином? – перебил его Ливри. – Ну нет, князь, мы уже опередили вас, и барышня выразила согласие. Если вы хотите присоединиться к нам...

– Но я еще не давала вам своего согласия! – перебила герцога Адель. – Я готова поехать с вами, но только при соблюдении неременного условия: без братишки, – она показала рукой в отдаленный угол, где стоял я, – я не поеду!

Я сильно перепугался. Что это еще за новая прихоть и что я буду делать среди всех этих блестящих господ? Правда, я – дворянин, но гений Вольтера значил больше любого дворянства, а не постеснялся же вот этот самый маршал де Роган приказать своим лакеям отдубасить Вольтера за одну неосторожную шутку! Правда и то, что тогда Вольтер позволил себе слишком много...

Ливри смущенно замялся, но маршал не задумываясь сказал, с легким кивком головы по моему адресу:

– Что же, если вы этого хотите, то мы ничего не имеем против общества господина Гюса...

– О, он на самом деле вовсе не брат мне! – со смехом сказала Адель. – Он мне даже и не родня: месье Лебеф – дворянин и занимается юриспруденцией. Но я называю его братишкой, потому что Гаспар очень много сделал для меня, и сегодняшним успехом я на три четверти обязана только ему!

Я слышал, как Голицын гневным шепотом сказал герцогу Ливри:

– Позвольте, да эта девчонка имеет смелость навязывать нашему обществу своего любовника!

– Поверьте моей старческой опытности, – ответил Ливри, – мужчина, состоящий на положении брата, никогда не будет для женщины ничем иным! Да и этот чертенок слишком умен, чтобы сделать такую глупость!

– Но тогда к чему же, – недоумевающе заметил князь, – к чему?..

– Девчонка знает себе цену; если бы ее мамаша была чуть поприличнее, она заставила бы пригласить ее...

Появление сценариста, звавшего Адель на сцену, положило конец перешептыванию.

Четвертый акт с поднятия занавеса застает Заиру на сцене, поэтому Адели надо было торопиться. Она кивнула обществу головой и сейчас же упорхнула.

Как только она ушла, я сейчас же подошел к присутствующим и вежливо и скромно сказал:

– Господа, я не знаю, какой новый каприз барышни Гюс заставил ее навязывать вам мое неподходящее общество, но поверьте, что это произошло помимо меня. Я постараюсь отговорить Адель от этой никчемной, да и тягостной для меня прихоти.

Должно быть, в моем тоне было что-то располагающее, так как Голицын сейчас же подошел ко мне, протянул мне руку и, крепко пожимая ее, сказал:

– Общество дворянина не может быть тягостным для прочих дворян. Я буду очень рад, если вы не станете сопротивляться желанию барышни Гюс и разделите сегодня нашу компанию!

Вслед за Голицыным ко мне подошли и все остальные и тоже пожали мне руку. Могу прибавить, что впоследствии меня все в этом обществе полюбили. Конечно, были и недоразумения, но о них в свое время!

На протяжении четвертого и пятого актов успех Адели не стал большим только потому, что это было уже невозможно. Но и с достигнутого во втором акте апогея он не сходил, так что все представление превратилось в сплошной триумф юной дебютантки.

Успех Адели был ясно подчеркнут и тем, что актрисы, бывшие очень любезными и благожелательными на репетициях, теперь сразу встали в холодно-враждебную позицию к ней. По крайней мере на предложение Адели принять участие в предложенном театрами ужине большинство актрис со змеиной иронией и низкими приседаниями ответило, что «где уж им, бездарностям, наслаждаться обществом такой гениальной актрисы!»

Это влило некоторую горечь в радость успеха: впереди предстояла борьба с закулисными интригами, сгубившими уже не один талант.

Но отказались далеко не все. Добродушная Дюмонкур; легкомысленная, веселая женщина-мальчишка Фаншон; кокетливая ла Люцци, по прозвищу Кошечка; сентиментальная, бело-розовая, словно фарфоровая куколка, вечно страдающая от сердечных ран д'Олиньи – все они с радостью согласились отправиться вместе с Аделью: они были независтливыми потому, что их положение как в театре, так и в веселящемся обществе было достаточно прочно.

Ужин удался на славу. Решено было чем-нибудь отметить этот знаменательный день. Мужчины сложились и командировали повесу Жевра, сына парижского коменданта, за подарками для дам. Жевр за шиворот вытащил знакомого ювелира из постели, заставил его открыть лавочку и выбрал по изящному колечку для всех дам, кроме Адели, которой он привез большой серебряный бокал, куда сейчас же стали бросать золотые монеты.

Когда бокал наполнился до краев, его торжественно поднесли Адели.

В наполнении бокала особенно постарался князь Голицын, который опорожнил туда добрую пригоршню луидоров. Правда, среди золота на другой день попало также несколько серебряных монет, но это уж, наверное, было делом рук герцога де Ливри: старик был очень богат, но страшно скуп; его поставщики вечно жаловались на недобросовестное оттягивание их грошей при расплате.

Ну, да что было говорить о каких-нибудь пяти серебряных монетах, когда Адели поднесла золотом маленькое состояние!

Так завершилось первое выступление Аделаиды Гюс на театральных подмостках, так закончился период формирования бутона этого могильного цветка. Отныне бутон будет все пышнее и пышнее развертываться в прекрасный, благоухающий, но – увы! – ядовитый цветок,

которому удастся более обыкновенного продержаться в роскоши полного расцвета, пока его лепестки, под внезапным порывом холодного ветра судьбы, не сморщатся и не развеются по пустынным и мрачным полям забвения!

Глава 3

Адель заснула никому неведомой девчонкой-замарашкой, а проснулась знаменитой талантливой актрисой. А в те времена – да думается мне, что и долго так будет, – слово «актриса» в переводе на общепонятный язык значило «общественное достояние». Еще актерам иной раз удавалось занять независимое, уважаемое положение в обществе: например, знаменитый балетмейстер Вестрис был принят как равный в лучших аристократических домах. Но актриса всегда оставалась «рабыней веселья», существом низшего порядка. Правда, и актриса могла играть большую роль и оказывать влияние на ход государственных дел, но это влияние исходило не от внутренних ее достоинств, а от чисто внешних: повелевала не актриса, а красивая женщина. А ведь на самом-то деле мир столь многим обязан деятелям сцены, что актеры и актрисы должны бы быть окружены всеобщим почтением: разве не со сцены общество воспринимало и воспринимает те идеи, которые более всего способствуют его облагораживанию, двигают вперед к идеалам добра? Но, видно, что-то роковое заложено в самой природе сценических деятелей, если даже революция, вызвавшая полную переоценку прежних взглядов и взаимоотношений, не коснулась подмостков, не внесла ничего нового в отношение общества к актерам.

Да, теперь Адель стала общественным достоянием, и это сказалось уже на следующее утро после ее дебюта.

Мы, то есть Роза, Адель и я (я стал в последнее время частенько манкировать службой), сидели в будуаре новоявленной знаменитости и занимались подсчетом вырученных (вернее – подаренных) вчера денег, которые надлежало занести в графу прихода. Это была первая приходная статья, до сих пор фигурировали одни только статьи расхода.

В середине этого приятного занятия в будуар вошла Мари и доложила, что его светлость, герцог де Ливри, желает видеть барышню.

– Попроси подождать, – ответила Адель, – я не одета... Впрочем, постой, скажи, что я сейчас: очень надо стесняться с этой старой развалиной!

Накинув на полуобнаженные плечи шаль, Адель вышла из будуара в гостиную. Она неплотно притворила дверь, и с моего места можно было видеть все, что делалось там. Старуха Роза воспользовалась свободной минуткой и ушла хлопотать по хозяйству. Таким образом я мог на свободе заняться наблюдениями.

Герцог явился с огромным букетом цветов: эта любезность ему ничего не стоила, так как у него были собственные цветники и оранжереи. При появлении Адели он хотел было что-то сказать, но вид девушки в откровенном утреннем «неглиже» произвел на старого сластолюбца такое потрясающее впечатление, что де Ливри только открывал и закрывал рот, не будучи в силах сказать что-либо связное и разумное.

– Ах, как вы милы, герцог! – весело сказала Адель, принимая из рук растаявшего старца цветы. – Простите, что я выхожу к вам в таком растрепанном виде, но мне не хотелось заставлять вас ждать; да и мне кажется, что с вами-то я могу не стесняться!

– О, помилуйте! О каких стеснениях может быть речь! – обрел наконец де Ливри дар слова. – Наоборот, совсем наоборот! Ваша милая беззастенчивость дает мне повод прямо приступить к цели своего визита. Но позвольте мне присесть, дорогое дитя мое, и сядьте сами!

Они уселись.

Де Ливри подумал минутку, как бы собираясь с мыслями, и затем продолжал:

– Я отлично понимаю, что как мужчина я представляю очень мало интереса...

– О, ровно никакого! – беззаботно согласилась Адель.

– Вы откровенны, как ангел! – с довольно-таки кислой улыбкой заметил герцог и продолжал: – Конечно, опытная, зрелая женщина поняла бы, что это отнюдь не может быть пре-

пятствием для чего бы то ни было, потому что я – светский человек, располагающий весьма и весьма крупными связями, а это право же...

– К делу, герцог! – холодно оборвала его Адель, – все эти рассуждения я уже давно знаю!

Ливри сразу поперхнулся, замялся и, видимо, не знал, как подхватить прерванную нить: Адель своим пренебрежительным хладнокровием выбила его из колеи.

– Хорошо, – сказал он наконец, – я прямо перейду к цели своего визита. Видите ли, я уже не в тех годах, когда женщина является для мужчины предметом страстных грез, как бы она хороша ни была. Разумеется, из суетного тщеславия...

– Еще раз: к делу, герцог! – прежним тоном заметила Адель.

– Но позвольте, обожаемая, – с отчаянием крикнул Ливри, – не могу же я так просто приступить к тонкой цели своего визита. Прежде всего я хотел бы знать, не слушает ли нас кто-нибудь...

– Ровно никто! К делу, герцог, к делу! – нетерпеливо повторяла Адель.

– Да, но то, что я собираюсь сказать вам, настолько тонко и важно, что мне хотелось бы иметь известную уверенность, что...

– Вот что, герцог, – решительно заявила Адель, – я еще раз говорю вам, что нас никто не слушает. Если же вам мало моего слова, то можете изъяснять цель своего визита вот этим самым креслам, а я уйду, чтобы привести себя в приличный вид. Ведь ко мне может прийти кто-нибудь поинтереснее вас, кого я не решусь принять в таком виде. Итак, начнете вы или нет? Нет? До свиданья!

– Боже мой, что за характер, что за ужасный характер! – простонал Ливри. – Да сядьте же, обожаемая, сядьте и выслушайте спокойно! Постараюсь быть кратким, насколько возможно. Хотите занять самое высшее положение, какое только снилось французской женщине?

– Хочу, – лаконически ответила Адель.

– А вы отдаете себе отчет, какое положение может быть высшим для женщины?

– Мне кажется... – начала было Адель, но вдруг по ее лицу мелькнуло что-то вроде испуга; только теперь она поняла, куда клонит герцог.

Она встала, тщательно закрыла двери со всех сторон, и ее дальнейший разговор с Ливри происходил уже с соблюдением полнейшей тайны. Впрочем, для меня-то сущность их разговора не была тайной: будучи в курсе политических конъюнктур версальского двора и зная роль и характер Ливри, я с первых его слов понял, какую низость подразумевает он под «высшим» положением.

Вам может показаться странным, что я, маленький нотариальный клерк, с апломбом говорю о знании «политических конъюнктур» внутренней жизни двора. Но не забудьте, что все описываемое мною происходило на пороге великой революции, когда в народе чувствовалось особенно напряженное любопытство ко всем внутренним событиям двора. Трудно сказать, как удовлетворялось это любопытство: вернее всего, тут происходило то же самое, что бывает в отношениях знатных господ к прислуге. Ведь господа не стесняются показываться прислуге в самом откровенном беспорядке костюма. Разве прислуга – человек? Так чего же перед нею стесняться! Вот народ и был такой же прислугой для придворных верхов того времени. И многое, что могли не знать высшие чины двора, с злорадством комментировалось в самых низкопробных кабачках Парижа.

Кроме того, именно мое положение нотариального клерка обеспечивало мне широкую осведомленность обо многих интимных сторонах жизни знати. В описываемую мною эпоху высшее дворянство было почти поголовно разорено, пробавлялось исключительно королевскими подачками и вечно обращалось с займами к богатой буржуазии. Последняя знала, что с дворянчиков в сущности «взятки гладки», но в деньгах все-таки не отказывала: если и не получишь обратно долга, зато можно добиться от должника какой-нибудь синекуры, поставки, хлебной должности, а то и лестного отличия – до возведения в дворянское звание включи-

тельно. Поэтому богатые буржуа, прежде чем дать просимую ссуду, обыкновенно обращались к своему нотариусу за справками. Это обязывало нотариуса быть постоянно в курсе придворных интриг, чтобы знать, прочно ли положение такого-то и, наоборот, действительно ли близко падение такого-то.

В сущности, в то время центром всей этой придворной борьбы была личность маркизы де Помпадур. Французская история богата именами влиятельных фавориток, но такой, как маркиза, не было ни до нее, ни после. Обыкновенно власть и влияние фаворитки кончались с прекращением ее женского обаяния. А Помпадур уже давно была самым наиплатоничнейшим другом короля, тем не менее все попытки подорвать ее власть неизменно терпели крушение. Главной причиной этого была поразительная гибкость характера маркизы – гибкость, доходившая до полного отсутствия женского самолюбия и чести (Читателю, интересующемуся этой стороной жизни и деятельности маркизы де Помпадур, предлагаем обратиться к роману того же автора «В чаду наслаждений», изд. А.А. Каспари.). Заметив, что король пресытился ее прелестями, маркиза стала выискивать и поставлять ему других, более юных красавиц. Если она замечала, что новая симпатия короля грозит пустить глубокие корни, «заместительница» немедленно устранялась добром или насилием, причем в ход пускались и клевета, и кинжал, и яд. Король ничего не жалел для такого незаменимого «друга», и потому положение маркизы оставалось прочным даже тогда, когда другим королевским фавориткам приходилось сходить со сцены.

Герцог де Ливри был одним из ожесточенных врагов маркизы де Помпадур. У них были старые счеты: маркиза когда-то больно ударила герцога по самой слабой стороне его характера – тщеславию. С тех пор Ливри вел беспощадную войну с фавориткой и искал только случая подставить ей ножку. Еще недавно он сумел поселить в душе короля тень сомнения и недоверия к маркизе, тонко намекнув на то, что все красавицы, пришедшиеся королю по нраву, непременно плохо кончали. Теперь, пользуясь наступившим охлаждением короля, охлаждением, которое, как он знал, долго не продержится, Ливри хотел подсунуть Людовику такую женщину, которая могла бы окончательно парализовать и уничтожить влияние Помпадур.

В этом для него было не только удовлетворение жажды мести, но и дань тщеславию, которое, как я уже упоминал, преобладало в характере старика.

Несмотря на то, что, широко пожив в юности, Ливри уже добрых пятнадцать лет восхищался женщинами совершенно платонически, несмотря на то, что он был очень скуп, он продолжал бегать за выплывавшими на полусветское небо Парижа звездами и иной раз щедро одаривал их: ему нужно было, чтобы говорили, будто «Ливри опять победил такую-то!». Благодаря Адели герцог рассчитывал занять при Людовике особо привилегированное положение, так как она казалась ему вполне подходящей по своим нравственным и физическим качествам, чтобы глубоко заинтересовать сластолюбивого короля.

Вот об условиях, на которых Адели будет оказана широкая помощь для достижения «почетного» положения королевской фаворитки, и беседовали они при тщательно закрытых дверях.

Их разговор затянулся на целый час; расстались они вполне довольными друг другом.

Не успел Ливри уйти, как один за другим потянулись новые визитеры. Теперь Адели пришлось уже одеться, так как не всех же можно было принимать в таком виде, как Ливри.

И кого-кого только не перебывало в этот день у Адели! Надменный аристократ низко кланялся этой уличной девчонке и в изысканных фразах говорил о том, что готов был бы все, что имеет, сложить к ногам красавицы. Драматург с подобострастной услужливостью преподносил перевязанный розовой ленточкой экземпляр своей трагедии, которой «не сможет не оценить такая выдающаяся артистка». Художник домогался чести осчастливить мир портретом Аделаиды Гюс. Видный коммерсант с грубостью истинного денежного мешка спрашивал, что будет стоить благосклонность барышни, если ее монополизировать, и сколько в том случае,

если он будет смотреть сквозь пальцы на ее шалости. Худой, скользкий, бледный иезуит убеждал Адель, что с такой наружностью, какую послал ей Господь, она может деятельно послужить «к вящей славе Божией» (как ее понимают господа иезуиты, разумеется!). Ученый-энциклопедист доказывал, что Адель как дитя народа должна отдать этому народу все свои силы, причем чувствовалось, что это служение легче всего осуществить в прочном союзе с ним, ученым. Словом – чем бы ни прикрывались визитеры, каким бы флагом ни прикрывались их речи, а основным мотивом их визита все-таки оставалась жажда обладания Аделью, как красивой женщиной, основанная на непреложности житейского афоризма, гласящего, что служение драматическому искусству равносильно для женщины полной общедоступности.

Из всех визитеров этого дня мне с особенной яркостью помнится князь Голицын. Он тоже явился с букетом цветов. Правда, его букет был меньше букета де Ливри, но зато стебли цветов охватывал массивный золотой браслет, осыпанный крупными рубинами. Если бы Адель была более чуткой, ее тронула бы эта чисто рыцарская манера преподносить ценные подарки. Но она была хищницей по натуре, да и перспективы, открывшиеся ей из разговора с де Ливри, слишком вскружили ей голову. Поэтому, когда Голицын с чарующей прямоотой спросил ее: «Я пришел спросить вас, могли бы вы полюбить меня?» – она ответила, небрежно играя кистями диванной подушки:

– Друг мой, это – странный вопрос. Я должна сначала знать, что вы можете дать мне за мою любовь!

– Себя! – пылко воскликнул Голицын. – Всего себя, вместе с безграничным обожанием и преклонением перед вашей чарующей божественной красотой!

– Ну, с таким скромным даром вам лучше бы обратиться к какой-нибудь мещаночке, которая сидит и ждет, пока за ней придет сказочный принц (Игра слов; по-французски «князь» и «принц» выражаются одним словом.), – с пренебрежительной улыбкой кинула Адель. – Нет, милейший князь, я держусь того мнения, что у мужчины должен быть более ценный балласт, чем одна только красивая наружность!

– Ну, тогда об этом нечего больше и говорить, – решительно ответил Голицын. – Видите ли, сударыня, тот ценный балласт, о котором вы упомянули, имеется у меня в таком количестве, какого сейчас, пожалуй, не найдется даже у самого христианнейшего короля Людовика XV. Я очень богат, но мне кажется, что меня можно бы любить и бескорыстно. Я достаточно молод для этого!

– Ну, вот видите, милый князь, как мы сходимся с вами во взглядах! – с беззаботной улыбкой возразила Адель. – Вы находите, что вы достаточно молоды и привлекательны для того, чтобы вас могли любить даром, а я нахожу, что я достаточно молода и привлекательна для того, чтобы могла любить не даром. Придется нам с вами подождать, пока или я постарею до бескорыстной любви, или вы постареете до любви корыстной!

– Ну, что же, подождем! – ответил Голицын, вставая и прощаясь с Аделью.

После его ухода Адель отстегнула браслет от стеблей роз, принесла его в будуар, примерила, с некоторым сожалением сняла и положила на стол, где уже была груда подарков всякого рода.

Помолчав немного, она сказала:

– Насколько мне кажется, «проклятая» сделала весьма недурное дельце!

Я приближаюсь в рассказе к тому кардинальному пункту, которому суждено было стать поворотной точкой во всей моей дальнейшей судьбе. Как знать, не подвернись Адели услужливый де Ливри и не привлекли Адель вместе с интересом сильнейшего мира сего опасения его сильнейшей подруги, она не так скоро рассталась бы с Францией, а я в течение этого времени сумел бы справиться со своей губельной страстью, полюбил бы более достойную женщину и...

Но что говорить о том, что было бы возможным, раз в действительности эта возможность потерпела полное крушение!

Но, как часто бывает на свете, именно об этом важном периоде я знаю меньше всего. Вся совокупность причин разыгрывалась, так сказать, за «кулисами» моей жизни, причем и я, и Адель, по непонятной стыдливости, избегали много говорить друг с другом о том времени. Поэтому могу передать вам о всем случившемся лишь в кратком пересказе.

План, детально разработанный хитрым де Ливри, был осуществлен во всех подробностях. Король побывал с герцогом инкогнито в театре, по окончании представления во дворце герцога был устроен веселый ужин на три прибора, где король имел возможность поближе взглянуть Адель. Она произвела на августейшего селадона неотразимое впечатление, и на следующий вечер карета доставила юную сирену в Охотничий павильон – небольшой домик Оленьего парка (в Версале), где неизменно происходили свидания короля с понравившимися ему женщинами.

Таким образом все шло сообразно с предположениями герцога. Однако он не знал, может быть, самого важного: того, что маркиза де Помпадур, имевшая в своем распоряжении целую армию искусных шпионов, была с самого начала осведомлена о затеянной интриге и уже предприняла свои шаги, чтобы парализовать попытки врагов. Для этого она пустила в ход очень верное и совершенно новое оружие.

Но в том-то и была сила маркизы де Помпадур, что она никогда не пользовалась одним и тем же оружием, а всегда считалась с индивидуальной особенностью личности или положения соперницы. Всякое насилие над такой популярной актрисой, какой стала Адель, могло обратиться против самой же маркизы; контринтриги или клеветы было недостаточно. Надо было придумать что-нибудь новое, и это новое было пущено в ход уже на другой день после того, как Адель побывала в Охотничьем павильоне.

Мне пришлось первому узнать о затеянной маркизой интриге, и вот как это случилось.

Был дивный весенний вечер. Весь день я был сам не свой, еле сидел в конторе, не будучи в состоянии сосредоточиться на деловых бумагах и отогнать от себя соблазнительный образ Адели, переполнявший мою душу бесконечным отчаянием безнадежной страсти. По мере того, как приближался вечер, эта тоска все возрастала; она достигла своего апогея в тот момент, когда Адель с иронической улыбкой вышла из дома, чтобы отправиться на свидание к венценосному покровителю. И когда я слышал стук колес отъезжавшей кареты, я почувствовал, что в данный момент способен на все, что долее я не могу так жить, что лучше самая бесславная смерть, чем это вечное сгорание на медленном огне...

Я схватил шляпу и, словно безумный, выбежал на улицу. Теплый, влажный воздух был напоен ароматами распускающейся зелени, и пряная волна бесслезной судорогой сжимала сердце. На каждом шагу попадались парочки, стыдливо жавшиеся в тени; из благоуханной тьмы садов доносились ласковый шепот, нервный, стыдливый смех и звуки поцелуев. Весна справляла свой пышный пир, вся природа праздновала великое торжество таинства возрождения, и только я один скитался, словно отверженный дух в безумии тоскливого одиночества.

Я бежал по улицам, не отдавая себе отчета, куда и зачем бегу. Не знаю, сколько времени носился я таким образом по городу. Наконец я очутился на каком-то мосту. Силы сразу оставили меня; я в изнеможении облокотился на парапет и с безумным отчаянием всматривался в мрачно журчащие темные воды вспухшей Сены.

Безумной скачкой проносились в голове клочки воспоминаний. Детство, милый Лориен, дядя-аббат... Париж, тихая жизнь, Сесиль, падение... Маленькая капризная девочка, ставшая вампиром моей души... Но ведь я люблю ее, эту холодную, разнузданную эгоистку, я жить не могу без нее! Но жизнь ли – то, что дано мне судьбой в настоящем? Вечно гореть, вечно стремиться, никогда не достигать, видеть, как на каждом шагу это стремление опозоривается, подвергается глумлению и надругательствам...

И вдруг мой мозг кровавым факелом осветила внезапная мысль:

«Если жизни нет, зачем довольствоваться суррогатом; если будущего нет, зачем без протеста отдаваться этому томлению?»

Не успела эта мысль сверкнуть во мне, как темные воды бурливой Сены показались мне таким избавлением, таким отрадным убежищем, что, не рассуждая далее, я пригнулся, собираясь одним скачком в воду положить предел своим сомнениям.

Но в этот момент чья-то сильная рука вдруг властно легла на мое плечо, и знакомый звучный голос иронически сказал:

– Друг мой, считаю долгом обратить ваше внимание, что вода довольно холодна и можно схватить насморк!

Это неожиданное противодействие вызвало во мне сильную реакцию, и минутное возбуждение вдруг сменилось таким упадком сил, что я, словно связка мокрого белья, съехал на землю и затрясся в истерических рыданиях. Словно в тумане я видел, как ко мне склонилось встревоженное лицо князя Голицына, который взволнованно заговорил:

– Боже мой, да ведь это – вы, меcье Лебеф! Что же случилось? В чем дело? Да успокойтесь, Бога ради! Ну, будьте мужчиной!

– Зачем, зачем вы помешали мне? – рыдал я. – Поймите, что смерть – благо в сравнении с той жизнью, которую я веду! Мне жить нечем, сердце по кусочкам разорвано, в душе живого места нет от вечных ран... Оставьте меня, дайте мне возможность умереть, и вы сделаете величайшее благодеяние!

– Полно, полно, милый друг! – возразил князь, бережно поднимая меня с земли. – В нашем с вами возрасте еще не бывает таких ран, которые не могли бы зажить. Зачем пускаться на непоправимый шаг? Покончить с собой вы всегда успеете, это от вас не уйдет. Но сначала надо попытаться дать отпор злой судьбе. Что за нелепость! Сдаваться, не поборовшись как следует! Оправьтесь-ка, друг мой, и пойдем со мной в ближайший кабачок, где за стаканом вина мы можем поговорить о вашем горе. Быть может, я сумею пригодиться вам... Ну, ну, овладейте собою! Не бойтесь, опирайтесь сильнее на меня! Вот так! Ну, вперед, друг мой! Раз, два...

Около моста был кабачок «Серебряной Розы». Князь привел меня туда, усадил в укромном уголке, потребовал вина и, когда я несколько оправился, ласково расспросил меня обо всем.

Я был слишком слаб, чтобы долго сопротивляться его желанию, и откровенно рассказал ему всю историю своих отношений с Аделью, всю трагедию моей злосчастной любви.

– Теперь вы видите сами, – закончил я, – что мне лучше умереть. Ведь вся беда в том, что моя воля сломлена навсегда. Другой на моем месте уехал бы из Парижа или по крайней мере переехал бы в другой конец города, а я сделать этого не могу. Но постоянно жить в такой близости и быть таким далеким, вечно видеть перед собой счастливых соперников, быть безвольной игрушкой в руках бессердечной кокетки... Нет, нет! Лучше умереть!

– Ну, а если бы она уехала, из Парижа, могли ли бы вы сбросить с себя ее гнет? – спросил Голицын.

– Мне кажется, да, – ответил я. – Конечно, на первых порах было бы тяжело, но...

– Ну, вот видите! – воскликнул князь, – значит, я был прав, когда говорил, что вам рано отчаиваться! Успокойтесь, милый мой, ваша Адель уедет, скоро уедет из Парижа!

– Но куда же? – с удивлением спросил я. – И как можете вы знать об этом?

– Собственно говоря, – несколько нерешительно ответил Голицын, – собственно говоря, это составляет... до некоторой степени... государственную тайну. Ну, да все равно: завтра-послезавтра об этом уже будет известно всем, так что если вы узнаете днем раньше, то большой беды не будет. Дело в следующем. Маркиза де Помпадур с самого начала интриги барышни Гюс с королем следила за ними. Гюс слишком опасна, маркизе надо было во что бы то ни стало отстранить соперницу. Вот она и решила устроить ей принудительный ангажемент

где-нибудь далеко за границей. Для этого она воспользовалась тем затруднительным положением, в котором оказалась моя всемилостивейшая повелительница императрица Екатерина. Беспорядки прошлых царствований разорили русскую казну, ослабили военную мощь моей родины. Вступив на трон, императрица увидела, что с севера ей грозят шведы, с запада поляки ведут себя более чем вызывающе, с юга турки собираются напасть на Украину. Мне было поручено укрепить нашу дружбу с Францией, так как Россия должна быть гарантирована союзами с великими державами, дабы можно было заняться поднятием внутренней мощи и благосостояния страны. Вам, конечно, известно, что вся внешняя политика вашей страны находится исключительно в руках маркизы де Помпадур. Маркиза обещала мне полную дружбу и помощь Франции, если я устрою приглашение Аделаиды Гюс в Петербург. Мне это было не трудно сделать: императрица уполномочила меня пригласить в Россию несколько талантливых актеров и актрис. Наш договор был заключен – не сегодня завтра Гюс подпишет контракт и уедет в Петербург!

– Но она может и не согласиться! – сказал я, пораженный услышанным. – Здесь у нее имеются слишком значительные интересы!

– Э, полно, друг мой, – возразил мне Голицын, – с такими особами, как маркиза, борьба невозможна! Гюс достаточно умна и поймет, что уехать в ее интересах. А если она все-таки заупрямится... боюсь, милый мой, что тогда ее песенка окончательно спета!

Мы еще долго проговорили с Голицыным. Я вернулся домой значительно успокоенным: весть о скором отъезде Адели непонятным образом сняла громадную тяжесть с моей опечаленной души!

На другой день, возвращаясь из конторы, я шел к себе в комнату, насвистывая какую-то бравурную арию. Вдруг в коридор выкатилась квадратная фигура мамыши Гюс и с комическим испугом замахала на меня руками.

– Да что вы, о двух головах, что ли, месье Гаспар! – зашептала она. – С каким шумом идете! И это после вчерашнего-то!

– Разве что-нибудь случилось? – испуганно спросил я.

– Ах да, ведь вас вчера не было! – ответила она. – Уж не знаю, что случилось, только вчера наша принцесса Трапезундская вернулась из Версаля не солоно хлебавши. Как я поняла, король даже видеть ее не пожелал... Уж не знаю, сама ли она тут виновата, или враги ей ножку подставили, только приехала она темнее тучи, отхлестала бедную Мари по щекам, в меня пустила стаканом, и такое тут у нас представление вышло, что хоть святых вон выноси! Я полночи прислушивалась, как она, словно тигрица в клетке, по своей комнате расхаживала; под утро она наконец успокоилась, улеглась... Недавно вскочила и отправила Мари с письмом к герцогу де Ливри. Попробуй-ка, посвисти тут около нее! Она тут такого пропишет, что не обрадуешься! Я-то рада, что она опять прилегла и притихла, по крайней мере...

Тут дверь на половину Адели открылась, и показалась ее нечесаная рыжеватая головка.

– Это ты, Мари? – спросила она. – Ах, братишка пришел! Поди ко мне, Гаспар, мне надо серьезно поговорить с тобой!

Я направился к ней: движимая любопытством мамыша хотела последовать за мной, но Адель так и напустилась на нее, злобно крикнув:

– Ты-то чего лезешь? Я тебя разве звала?

– Ну вот! – обиженно возразила Роза. – Я тебе мать или нет!

Адель распахнула дверь и, даже не давая себе труда удержать на груди мятую ночную кофточку, со сжатыми кулаками напустилась на старуху.

– Ты мне мать на то, чтобы отбирать мои деньги и подарки! – бешено закричала она, – а больше тебе ни до чего дела нет! Слышала? Ну и убирайся ко всем чертям, проклятая!

Чтобы помешать этой дикой сцене разыграться в новую ссору, я поспешно отстранил старуху, прошел за Аделью в ее будуар и притворил за собой дверь.

Адель кинулась в кресло, заплакала, покусывая свои тоненькие пальчики, и затем сказала:

– И понимаешь – главное, что эта старая обезьяна Ливри даже не торопится прийти теперь на мой зов!

– Ровно ничего не понимаю! – отозвался я, пожимая плечами. – Сестренка, да ведь ты с конца рассказываешь! Не начать ли тебе с начала?

– Ах да, ведь тебя вчера не было! Ну, да если я даже по порядку все тебе расскажу, едва ли ты что-нибудь поймешь! – сказала Адель, нервно разрывая зубами тоненький батистовый платок. – Вот послушай, что со мной вчера случилось!

Оказалось, что вчера, когда Адель по обыкновению ехала в Версаль на условленное свидание с королем, около Сэн-Клу карету остановил небольшой эскорт всадников, предводитель которых с галантным поклоном попросил «la tres honoree et estimable dame» (Высокочтимую и уважаемую госпожу.) уделить ему одну минуту внимания.

Удивленная Адель пожала плечами и спросила, в чем дело.

Тогда кавалер сказал ей:

– Моя госпожа, *tres haute et tres puissante Dame, duchesse marquise de Pompadour* («Очень высокая и очень могущественная госпожа, герцогиня маркиза де Помпадур» – таков был титул королевской фаворитки после пожалования ей в 1752 году «права табурета». Это право приравнивало маркизу почти к членам королевской фамилии. Она могла официально сидеть на королевских выходах, проникать во все внутренние дворы Лувра и Версаля, обязательно присутствовала на всех церемониях; кроме того, ее экипажи и ливреи ее слуг имели цвета и гербы королевского дома.), поручила мне передать вам следующее. Пользуясь своей привлекательной наружностью, вы вздумали играть на руку врагам маркизы и интриговать против ее влияния, которым она пользуется по праву и по совести для славы Франции. Понимая, что вы явились в данном случае простой игрушкой в чужих руках, и уважая ваш выдающийся талант, маркиза не хочет принимать против вас решительных мер. Но она ждет, чтобы за это вы склонились перед необходимостью, отказались от попыток видеть короля и покорно приняли предложение, которое в скором времени будет сделано вам от имени посла иностранной державы. Если вы разумно внимаете этому дружескому увещанию, то будете отпущены с почетом и богатым подарком. Но при малейшей попытке к сопротивлению воле моей госпожи вас ждут такие неприятности, которые испортят вам всю дальнейшую жизнь, если только последняя будет оставлена вам!

Как ни растерялась Адель от этого неожиданного реприманда, она нашла в себе достаточно присутствия духа и такта, чтобы ответить, что, даже не помышляя о сопротивлении воле такой могущественной и досточтимой госпожи, она все же не может отказаться в данный момент от намерения продолжать свой путь, потому что такова воля короля, чтобы она, Гюс, явилась сегодня в условленный час и место, а подчинение королевской воле для верно-подданного является высшим долгом, заставляющим забывать о каких-либо личных выгодах или опасностях.

В ответ кавалер снял шляпу, низко поклонился и заметил, что хотя сегодня попытка Адели свидеться с королем и будет бесполезной, но, уважая справедливость ее довода, он не будет чинить ей препятствия и только вынужден будет эскортировать ее, чтобы предохранить его величество от попытки Адели повидаться с королем против его воли.

Действительно, Адели не пришлось увидеть короля. Один из помощников старшего камердинера короля, Лабрус, взволнованно рассказал Адели, что его величество опасно занемог, что призванный врач не нашел в этом заболевании никаких физических причин, объяснив его нездоровым влиянием, которое флюидически оказала на короля особа, более всего «занимающая мысли его величества в данное время». Разумеется, Адель сразу поняла, что все это заболевание является следствием планомерной контринтриги маркизы, но что же было делать?

Пришлось уехать домой ни с чем!

– Но ты можешь себе представить, братишка, – взволнованно закончила Адель, – в каком угнетенном состоянии я нахожусь теперь! Подумать только: все шло так хорошо, король все более пленялся мною, становился мягким воском в моих руках, и в тот момент, когда я была уже в двух шагах от головокружительной высоты, мне вдруг говорят: «Пожалуйста обратно вниз!»! Но я не подчинюсь, ни за что не подчинюсь! – истерически крикнула девушка. – Уж мы с Ливри что-нибудь придумаем, мы свяжем по рукам и ногам эту пронырливую интриганку! Да вот не идет эта старая обезьяна, хоть я и просила его сейчас же приехать ко мне. А без Ливри ни один человек в мире не может объяснить мне, в чем тут дело и что это за предложение, о котором говорил посланный маркизы!

– Ну, что касается последнего, то тут я могу дать тебе все необходимые разъяснения, – ответил я.

– Ты? – с недоверчивым удивлением отозвалась Адель. – Да что можешь знать об этом ты?

– Я видел вчера вечером Голицына, Адель! – сказал я. – Он рассказал мне, что маркиза обусловила дружественную помощь Франции русской императрице Екатерине приглашением тебя на службу в Петербург. Не сегодня завтра князь принесет тебе официальное приглашение от петербургского двора и контракт.

– Ах, вот оно что! – вне себя от бешенства крикнула девушка. – Ну, так дудки, этот фокус со мной не удастся! Я не позволю играть собой, не уеду в страну белых медведей! Поборемся еще! Ливри пользуется неограниченным доверием короля; посмотрим, как отнесется его величество к недостойной проделке этой гадины маркизы! Уж Ливри найдет средство, поверь!

Появление горничной Мари было словно providенциальным ответом на выраженную уверенность Адели.

Запахавшаяся от быстрой ходьбы Мари взволнованно затараторила:

– Барыня, несчастье-то какое! Ведь нашего-то герцога сегодня отправили в ссылку в нормандские поместья!

– Как? – дико крикнула Адель. – Не может быть! Но за что?

– Вот потому я и задержалась, барышня, что хотела узнать, в чем тут дело, – ответила бойкая камеристка. – Никто ничего толком не знает, хотя прислуга и говорит, что герцога обвинили в злоумышлении на жизнь и здоровье его величества и, только принимая во внимание его возраст и прошлые заслуги, не отправили в Бастилию, а сослали на безвыездное жительство в Нормандию.

– Уйдите все! – простонала Адель, с рыданием кидаясь обратно в кресло, с которого она вскочила при ошеломляющем известии, принесенном горничной.

Я ушел к себе в комнату и долго ходил взад и вперед. Внутри у меня происходила сложная борьба чувств. Я и радовался своему освобождению, и боялся его. Мне казалось диким и невозможным даже подумать, что я буду жить вдали от Адели. И все же на душе у меня было несравненно покойнее и легче, чем, например, вчера, когда я в диком неистовстве носился по городу.

Адель была достаточно умна и рассудительна, чтобы примириться с создавшимся положением. Правда, ее самолюбие сильно страдало, но она сознавала, что самолюбию будет нанесен еще более чувствительный удар, если она рискнет вступить в открытую борьбу с маркизой и потерпит в ней решительное поражение. Конечно, эта борьба была возможна; у маркизы было достаточно врагов, и каждый из них с удовольствием помог бы Адели увидаться с королем, чтобы попытаться разорвать сеть сплетенной вокруг них интриги. Но будет ли какой-нибудь результат от этого? От маркизы с ее дьявольской осведомленностью не удастся скрыть это свидание, а она уже доказала, насколько ее ум изобретателен в средствах отпора. И ведь мало того,

что сам исход борьбы сомнителен, даже и результат победы далеко не ясен. На что сильны влияние и власть маркизы, и то ей приходится все время ограждать себя от интриг врагов. Может ли она, Адель, рассчитывать, что с равным успехом отразит все попытки придворных вытеснить из сердца короля новую возлюбленную, чтобы навязать ему другую фаворитку?

Так ради чего же ей рисковать! Она еще молода, только что вступила в жизнь, которая широко раскрыта перед ней. Нет, лучше уж сделать веселое лицо при грустной игре и попытаться как можно лучше использовать те шансы, которые предоставляются ей теперь.

Немалую роль в этом благоразумном решении сыграли рассказы старухи Гюс. Как уже знает читатель, Роза в свое время достаточно пошаталась по белу свету и некоторое время жила в России по времена покойной императрицы Елизаветы. По словам Розы, нигде в мире не ценят так женщину, как в этой полудикой стране. Правда, при царящей там грубости нравов нечего и ждать от русского барина такого рыцарского уважения к женщине, каким отличаются французы. Русские разнузданы в своих страстях и способны из-за каждого пустяка пустить в ход кулак или плетку. Зато ни один жантильом в мире неспособен с такой широтой и размахом опрокинуть над головой избранницы рог изобилия всяческих щедрот. К тому же и богаты эти русские, просто дух захватывает! В два-три года разумная женщина может составить там целое состояние!

Хотя все эти рассказы и дали Адели лишний повод язвительно вышутить мать: «Она-де, видно, не отличалась и смолоду разумностью, потому что состояния себе там не составила», но они все-таки произвели свое впечатление. Поэтому, когда Голицын явился к девушке с официальным предложением поступить во французскую труппу «Императорского Эрмитажа» в Петербурге, Адель ответила, что в принципе она согласна, но только просит оставить ей дня на два проект контракта, чтобы она могла основательно ознакомиться с его пунктами и взвесить их выгодность.

Голицын был у Адели утром, когда я находился в конторе. Не успел я вернуться домой, как веселый голосок Адели уже звал меня к ней в будуар, где они с мамашей Гюс тщетно пытались разобраться в бумаге, написанной малознакомым женщинам сухим юридическим языком. Всевозможные «онные» и «вышеупомянутые» приводили девушку в полное отчаяние и совершенно сбивали с толка.

Я быстро растолковал ей все непонятные пункты и указал, что контракт составлен очень благоприятно, предоставляя ангажируемой большие преимущества по сравнению с ангажирующей стороной. Уходя, я обернулся в дверях и сказал:

– Советую тебе, Адель, основательно ознакомиться со всеми этими деловыми выражениями. Ведь ты, наверное, блестящим метеором пронесешься по всем крупным европейским сценам, а ведь рядом с тобой может и не оказаться человека, который добросовестно и бескорыстно поможет тебе разобраться в юридическом лабиринте контрактов!

– Ну вот, а ты? – с удивлением кинула девушка.

– Но ведь я-то остаюсь здесь! – с грустной улыбкой возразил я.

– Ах, черт возьми, да ведь это у меня совсем из головы вон! – растерянно пробормотала девушка и тотчас прибавила: – А знаешь, мать, ведь нам с тобой без братишки будет совсем плохо!

Мать ответила ей многозначительным взглядом и шепнула ей что-то, от чего Адель громко фыркнула. Уходя, я слышал, как Роза наставительно сказала дочери:

– Погоди фыркать-то, а лучше подумай над моими словами!

Что они говорили дальше, я не расслышал, так как не придал этому разговору никакого значения.

Однако в следующие дни мне пришлось невольно заметить, что мать и дочь серьезно и усиленно совещаются о чем-то. Иногда до меня долетали обрывки фраз, теперь совершенно ясные, но в то время казавшиеся какой-то абракадаброй. Я понимал только, что Адель туго

соглашалась с доводами матери, но что это были за доводы? Я привык не спрашивать о том, о чем мне добровольно не говорили, собственным же умом добраться до смысла этих загадок казалось совершенно невозможным.

Да и как было понять, например, следующее:

– Милая моя, излишнюю щепетильность надо заранее отбросить: мало ли кто еще тебе будет попадаться!

– ...Одной преданностью давно заслужил, а тебе-то, в сущности, что это стоит?

– Полно, милая моя, ночью все кошки серы!

– Вот не думала, что ты – такая дура! Человек как человек! Что-то ты не больно до сих пор искала любви. А раз уж из-за выгоды, то, с какой стороны эту выгоду ни возьми...

И так далее, и так далее в том же роде.

Эти фразы вызывали во мне некоторое удивление, но интересовали очень мало: я был всецело полон мыслью о предстоявшей разлуке с Аделью и бережно баюкал в душе тихую, лирическую грусть о грядущем одиночестве. Эта грусть была болезненно дорога мне. Она не поднимала в сердце бури, нет, полное спокойствие воцарилось у меня в душе... увы! – ненадолго.

Вскоре Адель совершенно переменила свое обращение со мной. Резкая, повелительная, бесцеремонная до этого, теперь она стала тихой, ласковой, внимательной. Она искала случая побыть со мной, частенько заходила ко мне в комнату, подсаживалась, брала мои руки в свои, по-детски прижималась и говорила трогательным голосом о том, как ей грустно думать, что придется скоро жить без милого-милого братишки. И весь мой так трудно доставшийся покой быстро улетел под влиянием ее дразнящих ласк, ее обволакивающих, манящих интонаций.

И снова кровь огненным ключом билась в виски, снова вихревая страсть кружила голову...

Бежали сутки, и все труднее становилось мне обуздывать зверя, пробудившегося в крови с неукротимой силой. Мои ночи превратились в хаос страстных кошмаров, мои дни – в пытку общения с Аделью. А она, словно не замечая моих мук, все усугубляла свою нежность, все беспощаднее жгла меня томными взглядами голубых глаз. Я чувствовал, что недолго выдержу, что давно таящаяся страсть должна будет прорваться, и этот взрыв может вылиться в очень непривлекательные формы. Я пытался отстраниться от Адели, но, чем сильнее было воздействие ее ужимок и ласк, тем настойчивее лгнула она ко мне. И наконец то, чего она так долго добивалась, случилось!

В этот день я пришел из конторы позже обыкновенного. Я нарочно придумал для себя экстренную работу, потому что мне страшно было возвращаться домой. Накануне Адель весь вечер просидела со мной на диване, близко прижимаясь ко мне и положив головку мне на плечо. При этом она жаловалась на свою судьбу, которая, наделив ее красотой, не дала возможности пользоваться молодостью. Правда, мужчины помогают ее, они готовы наперебой сложить у ее ног свое состояние, но ведь так противно отдаваться не любя! А ведь ей страстно хочется любить и быть любимой! Стоят такие чудные дни, весна так щедро и пышно осыпала природу своими дарами, и как хорошо было бы теперь бродить, взявшись за руки, с милым другом в каком-нибудь старом парке за городом! Потом вернуться домой – в простенький деревенский дом, единственным убранством которого являются цветы... Вернуться и знать, что тебя сейчас приласкает тот, кто тебе дороже всего на свете и кому ты тоже дороже всего... Приласкаться самой и забыться... О, какое неземное блаженство пожить так хотя бы дня два!

Мне стоило нечеловеческих усилий сдержаться и не смять Адели в бешеных объятиях. Но я чувствовал в то же время, что это последняя капля сил и что, повтори Адель такую сцену и в этот день, я не в силах буду обуздывать долее зверя пламенеющей страсти. Вот почему я так медлил с возвращением домой и с таким страхом брался под вечер за ручку двери нашего дома.

Адель, видимо, ждала меня и, заслышав мои шаги, выбежала ко мне навстречу, причем без дальних слов попросту бросилась мне на шею.

– Братишка! – радостно визжала она. – Как я счастлива, как я довольна! Иди ко мне, что я тебе покажу! – и с этими словами она потащила меня за руку в будуар, где на столе искрилась всеми цветами радуги бриллиантовая диадема, стоимостью не в одну тысячу экю (Экю по нынешнему курсу около четырех рублей.), а рядом белел кусок бумаги. И то, и другое составляли предмет радости и гордости Адели: бумажка при внимательном рассмотрении оказалась письмом маркизы де Помпадур, в котором королевская фаворитка сообщала, что его величество был огорчен вестью об утрате, постигающей французскую сцену с отъездом такой даровитой артистки, и шлет ей вместе с монаршим благоволением маленький подарок. В тоне письма ясно чувствовалось, что этот подарок сделан по представлению и выбору самой маркизы и что это самое обыкновенное «отступное», почти даже незамаскированное. И во фразе, в которой маркиза желала Адели и впредь не терять свойственного ей благоразумия, слышалась скорее ирония, чем желание сказать любезность.

Но для таких тонкостей Адель была недостаточно чутка, и подарок искренне приводил ее в восхищение.

– Нет, ты подумай, братишка, – тормошила она меня, – ты только подумай, вот это я называю поступить по-королевски! Мало ли у его величества было таких, как я! Что я для него – пестрая бабочка, на миг залетевшая в комнаты. Но эта бабочка хоть на мгновение доставила королю отраду, хоть на мгновение усладила его жизнь, и он уже не способен взвешивать и считать! Ведь этот «маленький подарок» – целое состояние! Да, правду говорят, что у королей нет возраста! Такого короля можно любить, будь он уродлив, как сатана, и стар, как Винцент Сенлиский! (Церковь, построенная в 1053 г. женой Генриха I, дочерью великого князя Ярославла, Анной, в благодарность за разрешение ее от неплодия по молитве святому Викентию.) Какой дар, какой щедрый дар!

У меня кровь хлынула в виски. Я довольно неделикатно бросил на стол диадему, которую как раз рассматривал, и сказал, плохо сознавая, что этими словами обнаруживаю свою мучительную страсть:

– Щедрый дар! Старому, изнуренному пьянством и разнузданностью псу молодая прекрасная девушка отдает все, что она имеет – красоту, молодость, весеннюю прелесть души; он кидает ей за это одну сотысячную часть своего богатства, и это называется поступить по-королевски! Да ведь Людовик захлебывается в роскоши, ведь эту подачку – да, да, не щедрый дар, а подачку! – он бросил тебе так же, как кинул бы голодной собачонке корку хлеба с полного стола! Да разве счастье обнимать твой стан...

Я остановился на полуфразе: страсть душила меня и судорогой сводила горло.

Лицо Адели вспыхнуло радостью, голубые глаза засверкали торжеством.

– За счастье обнимать мой стан ты дал бы, братишка, больше? – вкрадчиво сказала она, положив мне руки на плечи и кокетливо улыбаясь.

– Больше? – простонал я, окончательно подхваченный и унесенный страстной волной. – Да за один миг разделенной любви, за мимолетное право называть тебя своей я отдал бы все, что у меня есть, все богатства земли, все, все... Но у меня ничего нет... О, лучше тысячу раз умереть в жесточайших муках, чем пылать такой безграничной страстью и сознавать свое ничтожество, сознавать, что нет ничего, ничего...

– Нет, братишка, ты не прав, – пылко сказала Адель, почти вплотную приближая к моему лицу расширенные от волнения глаза, – у тебя многое есть, чем ты богат и что ты мог бы подарить мне. У тебя есть жизнь, свобода, воля! Поклянись, что ты отдашь все это мне, и я твоя! Посмотри на меня, разве я нехороша, разве я не стою того, что прошу у тебя? Ты молчишь? Ты колеблешься? Гаспар, ведь тебя ждет такое счастье, о каком ты не мог мечтать даже во сне!

Она ошибалась: я не колебался. Я просто молчал, потому что был скован, ошеломлен возможностью счастья, о котором до того действительно не смел мечтать даже и во сне. И не

будучи в силах выговорить хоть слово, я вместо ответа схватил Адель и скомкал ее упругое, гибкое тело в своих неуклюжих, сильных, медвежьих объятьях.

Но Адель змейкой вывернулась из моих рук и воскликнула:

– Сначала клятву, Гаспар!

Тогда я хриплым, задышающимся голосом повторил за нею подсказываемые ею слова, в которых клялся вечным блаженством, спасением души моих родителей и честным словом дворянина, что если Адель станет моей, то я на всю жизнь буду принадлежать ей, не имея ни собственной воли, ни свободы, ни личной жизни, беспрекословно исполняя все, чего бы она от меня ни потребовала.

Когда клятва была дана, Адель сказала:

– Поди к себе и приготовься: мы едем в деревню на несколько дней!

Через полчаса карета увозила нас в Буживаль.

Всю дорогу до Буживаля мы ехали молча. Я был как-то вне жизни, вне сознания происходящего.

Адель будет моей? И я не умру от счастья на пороге блаженства?

Я взял обе руки Адели, как бы желая убедиться, что она на самом деле едет со мной. Адель ответила мне ласковым пожатием и не отнимала своих рук вплоть до того момента, пока в зеленоватом свете полной луны перед нами не показалась старинная буживальская церковь. Тогда Адель сказала:

– Я слышала, что здесь, за городом, в лесу около Сены имеются очаровательные гостиницы. Как хорошо будет там нам с тобой, мой милый!

Мы скоро нашли, что нам было нужно. Пошатываясь от пьянящей страсти, вошел я в отведенную комнату. Там Адель сбросила прямо на пол дорожное пальто и широко раскрыла мне свои объятия. С хриплым стоном бросился я к ней. Все закружилось и поплыло у меня перед глазами. Только тот, кто знает, что любить – значит умирать в объятиях любимой, поймет мое состояние в тот момент.

Три дня пролетели сплошным восторгом ласк, бредом объятий. К вечеру третьего дня Адель пошла к хозяйке, чтобы распорядиться насчет ужина. Я остался один, и тут впервые мне пришла в голову мысль, что мое счастье кратковременно, что скоро кончится эта лесная поэма и в свои права вступит суровая действительность. А чего стоило это так быстро промелькнувшее счастье! При мысли об этом ужас объял меня...

В этот момент вернулась Адель.

Словно чутьем угадав мои мысли, она нежно обняла меня и сказала:

– Не надо грустить, дорогой, грусть будет потом, когда наша сказка кончится... А конец ее близок, она уже кончается, Гаспар!

Не давая мне ответить, она перегнулась ко мне, обняла, прильнула, и снова мы унеслись в вихре жгучего безумия...

На следующий день мы встали очень поздно, обедали полуодетыми...

Под самый вечер Адель, освободившись из моих объятий, сказала холодно и значительно:

– Сказка кончилась, Гаспар! Через час мы возвращаемся в Париж!

Меня больно поразил этот тон, столь непохожий на недавнее еще нежное воркование влюбленной голубки. Но в то же время я с такой остротой почувствовал, что сказка действительно кончилась, что молча стал собираться в путь. Скоро четверка сытых деревенских лошадок быстро мчала нас обратно той же дорогой.

Первую половину пути мы ехали молча. Потом Адель заговорила:

– Нам нужно объясниться, милейший Лебеф, чтобы в будущем не было никаких недоумений. Ты должен понять, что твоя воля и свобода понадобились мне вовсе не для того, чтобы создать себе из тебя покорного друга сердца. О, нет! И глуп же ты, Лебеф, если хоть на минуту мог подумывать так! Зачем я буду связывать себя с одним, когда передо мной рас-

крывается целый Божий мир? Но видишь ли, мне не раз приходилось слышать, что нас, артисток, безжалостно эксплуатируют, если мы не держим при себе мужчину, достаточно опытного, чтобы не попасться в ловушку, и достаточно преданного, чтобы не продать. Многие знаменитости пытались осуществить последнее условие путем крупного жалованья, которое они платили своим секретарям. И что же! Вот тебе пример: при дворе Карла-Эммануила Третьего, короля Сардинии, освободилась вакансия оперной примадонны. Король и его двор не знали, кому из двух конкуренток отдать предпочтение – Капокроче или Скоделлино. Решили устроить между ними своего рода конкурс. Но накануне испытания Скоделлино подкупила секретаря Капокроче, и последний опоил свою госпожу ядовитым питьем так, что она не встала больше. Правда, Скоделлино немного выиграла этим: история случайно разгласилась, и некогдайке пришлось спасаться бегством... Ну, да это все неважно. Главное – то, что положиться на постороннего нельзя, своего иногда нет, а без мужчины нашей сестре плохо.

Адель замолчала. Я напряженно смотрел на нее, ожидая продолжения.

И она вновь заговорила:

– Тебя я успела узнать. Знаю, что ты не продашь и не изменишь. Кроме того, ты – ловкий парень: знаешь все эти ваши подъяческие выверты. Да вот беда была в чем: видела я, что ты влюблен в меня, как крыса в сало. При других условиях мы живо поладили бы: не все ли тебе равно, где служить – в идиотской конторе или у меня. Я платила бы много больше. Но благодарю покорно, держать при себе влюбленного дурака, который может ни с того ни с сего закатить тебе сцену, да еще в самый неподходящий момент! Дурака надо было сначала укротить, всецело подчинить себе его волю. Этим-то я и занялась... Не ожидала я, что понадобится столько времени! Но в конце концов, как видишь, я добилась своего! Умора!

Адель опять замолчала: ее лицо расплылось в довольную улыбку. Она, видимо, с наслаждением вспомнила все перипетии той комедии, которую разыграла. Молчал и я. Даже не вдумываясь в ужасный смысл ее слов, я содрогался от той вульгарной, циничной формы, в которую она облекла свою откровенность.

– Ты должен согласиться, что я со своей стороны более чем добросовестно выполнила принятые на себя обязательства, – продолжала она. – Ведь по смыслу данной тобой клятвы вовсе не надо было напускать столько поэзии, а тем более затягивать ее на такой длинный срок. И все-таки, видишь, сколько я возилась с тобой! Теперь настал твой черед добросовестно выполнить свой долг. Конечно, ты дал достаточно страшную клятву. Но ведь, если ты и лишишься вечного блаженства, мне от этого легче не будет. Так я рассчитываю по крайней мере, что ты хоть попомнишь добром мое великодушие. Знаешь ли, милый мой, таких часов, какие провел со мной ты, я еще никому не дарила, да и подарю ли когда-нибудь – большой вопрос. Ты еще недавно возмущался тем, что король по сравнению со своим богатством был скуп в отношении меня. Так будь ты щедрее!

– О чем тут говорить, Адель! – с мучительным трудом сказал я. – Но что я обещал, в чем поклялся, то сдержу...

– Да ты напрасно драматизируешь все это, Гаспар, – обрадованно подхватила Адель. – Не думай, пожалуйста, что я собираюсь злоупотреблять полученной клятвой. Очень нужно! Тот, кто служит лишь по необходимости, никогда не служит хорошо... Поэтому не думай, что я хочу даром пользоваться твоими услугами. Очень нужно! То, что для тебя будет крупным жалованьем, при моих доходах – сущая безделица... Я буду платить тебе, и платить хорошо! Не думай также, что я буду злоупотреблять своим господством. Это, милый мой, было бы прежде всего невыгодно для меня самой: мой секретарь должен быть важным, ну, а какая тут важность, если секретаря равняют с прислугой, как это делает глупая Ла-Белькур?... Словом: ты будешь иметь все, что имел бы, если бы не пришлось пускать в ход комедию со страшной клятвой. А в виде неожиданной премии – наши дни в Буживале... Право же, это совсем недурно...

И опять настало время молчания. Я сидел как пришибленный. Мне припомнилось все, что я слышал отрывками из разговора матери с дочерью, что было для меня тогда так неясно и что теперь сразу осветилось зловещим светом.

Так это был целый заговор!

Мы как раз въезжали через заставу, когда Адель снова заговорила:

– Да, вот еще что. В твоём новом положении будет не совсем удобно говорить со мной на «ты». Разумеется, когда мы одни или в присутствии матери, можешь не стесняться. Но официально...

– Хорошо, так и будет, – глухо ответил я. – Все это для меня неважно... Но теперь, пока мы еще не приехали, пока еще я могу говорить с тобой просто и прямо, как прежде, заклинаю тебя всеми святыми, скажи мне: неужели в затее буживальской поездки тобой руководил только расчет? Неужели вся твоя предшествующая ласковость была только комедией? Словом, неужели ни на минуту в твоём сердце не пробуждалось искреннего чувства ко мне?

– Нет! – резко и прямо отрезала Адель. – Я с детства привыкла подчинять движения сердца разуму. Мать доказала мне, что без тебя нам будет плохо, вот я и взялась привести тебя к необходимому... Впрочем, можешь утешиться! Конечно, я еще не имела случая узнать, что такое любовь, но мне кажется, что там, в Буживале, у меня на сердце шевелилось что-то к тебе. Ты был таким молодцом! Я, со своей стороны, нисколько не жалею о проведенном с тобой времени и даже заранее завидую твоей будущей возлюбленной, потому что, видишь ли, я добрее, чем ты думаешь, и отнюдь не собираюсь мешать твоим подвигам в этом отношении! Ты – молодец, поверь слову опытной женщины! – она потянулась с видом довольной кошечки. – Только не воображай, пожалуйста, что буживальские дни могут повториться! – спохватилась она. – Сказка кончена, милейший, и кончена навсегда, заруби себе это на носу!

В молчании доехали мы до дома и в коридоре молча простились друг с другом. Я прошел к себе в комнату и там со стоном упал на пол перед Распятием. Грудь разрывалась у меня от бесконечной жадности молитвы. Но молиться я не мог. Да и о чем было молиться? Все равно, я чувствовал себя бесконечно согрешившим перед Господом. Ради минуты торжества плоти я клялся будущими вечными благами... Слова молитвы застывали у меня на устах, и я безмолвно пролежал всю ночь на полу перед святым Распятием...

Утром я написал дяде записочку, в которой просил извинить меня за невольное отсутствие, извещал, что более служить не могу, и обещал в скором времени лично зайти, чтобы объяснить причину совершившегося и поблагодарить его за все сделанное для меня.

Накануне нашего отъезда в Россию я вспомнил, что должен проститься с дядей, и отправился к нему в контору. Дядя принял меня очень сдержанно, но что-то дрогнуло в его лице, когда я просто и искренне объяснил ему, что заставляет меня порывать с настоящим.

– Да, да! – проворчал он. – Значит, приходится продавать контору? Ведь детей у меня нет; только для того и работал я по сию пору, чтобы целиком передать тебе нажитое дело... Я долго присматривался к тебе, не хотел полагаться на одни родственные чувства, думал, что со временем успею еще сделать тебя своим... Ведь суровая школа помогает выработаться истинному человеку... Но отсутствие семьи губительно повлияло на тебя... Что же делать: моя вина!.. Впрочем, может быть, еще не все пропало, может быть, еще можно как-нибудь поправить все это?

– Дядя! – тихо ответил я, – ведь я дал клятву...

– А что такое клятва? – недовольно воскликнул нотариус. – Что это? Какое-нибудь юридическое обязательство, что ли? Обратись к святому отцу в Рим. Святой отец снимет с тебя неосторожное обещание, и ты...

– Нет, дядя, – почтительно перебил я, – даже Сам Господь Бог, а не то что Его представитель на земле, не может разрешить меня от этой клятвы!

– Это почему? – строптиво спросил Капрэ.

– Да потому, дядя, – ответил я, – что Господь не может покровительствовать неблагородным поступкам. А благородно ли было бы – добровольно вступить в торг, получить плату, которую нельзя вернуть обратно, а потом, ссылаясь на Господа Бога, отказаться от исполнения принятых на себя обязательств?

– Да кому даны эти обязательства, дурак? – злобно крикнул дядя. – Подлой распутнице, слуге сатаны!

– Дядя, – тихо ответил я, – так должны же слуги Господа чем-нибудь отличаться от слуг сатаны, а не приравняться к ним! В моей будущей жизни – искупление за совершенный грех, и я должен добровольно принять его!

Дядя внимательно посмотрел на меня через очки и буркнул:

– Ты прав. Да простится мне, что, подчиняясь родственным чувствам и симпатии к тебе, я пытался натолкнуть тебя на то, что сам впоследствии поставил бы тебе в вину... Ты прав, и пусть черт возьмет того, кто решится утверждать противное! – при этих словах дядя с силой стукнул кулаком по столу, а затем, словно устыдившись горячности, недостойной испытанного старого нотариуса, продолжал, – итак, будем считать, что свершившееся неизменно. Сожаления бесполезны. Скажу тебе одно: у меня довольно крупное состояние, и я думал завещать его тебе. Но до тех пор, пока ты находишься в рабстве этой госпожи, не видать тебе этих денег! Не для того честное поколение Капрэ копило эти деньги, чтобы низкая развратница пропустила их между пальцев... Ну, да я распоряджусь... Если ты будешь нуждаться лично – напиши мне, я выручу тебя. Впрочем, это ты должен знать и без моих слов. А теперь ступай, простись с теткой! Да смотри, не говори ей правды! Придумай что-нибудь поостроумнее. Она стара, болезненна, слаба и имеет несчастье искренне любить своего беспутного племянника. Правда только расстроит ее... Ну, ступай, а потом перед отъездом зайди опять ко мне!

Возвращаясь домой, я встретил другого человека, перед которым мне было совестно за свое падение: это был князь Голицын. У меня была возможность избежать встречи с ним, так как я зашел в переулок и мог свернуть в переулочек. Но на свой стыд я смотрел как на искупление, и, когда князь дружески спросил меня, почему так бледно мое лицо и так горят мои глаза, я в двух словах рассказал ему обо всем совершившемся.

Князь ласково взял меня под руку и опять повел в ближайший кабачок.

– Русский обычай требует, чтобы предстоящая дорога была разглажена чаркой доброго вина, – пошутил он, но я чувствовал, что он был искренне взволнован и насиловал себя для шутки.

За бутылкой вина он попросил, чтобы я еще раз пересказал, как все случилось. Я исполнил его просьбу и прибавил:

– Вот видите, князь, лучше было бы вам дать мне тогда спокойно умереть!

– Не вижу, чтобы это было лучше, – задумчиво ответил Голицын. – Я твердо держусь взгляда, что все свершающееся разумно и нужно для неисповедимых целей Творца. Правда, неосторожным шагом вы подвергли себя великим бедствиям, но... Один вопрос сначала, – перебил он сам себя. – Я немножко философ и люблю проникать в корень вещей. Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос, но ответьте искренне или лучше не отвечайте ничего! Скажите: ну, вот вы убедились, что стали жертвой самого низкого расчета, самой недостойной интриги. Это не может помешать тому, чтобы обладание остроумной девицей Гюс не казалось вам огромным благом. Так представьте себе, что она предложила бы вам вновь пережить повторение лесной сказки. Как вы поступили бы в таком случае?

– И вы еще спрашиваете? – с негодованием крикнул я. – Но, разумеется, теперь это повторение уже невозможно, раз я знаю, как она относится ко мне!

– Однако Гюс могла бы попросту потребовать от вас этого, – заметил Голицын, – потребовать хотя бы на основании того обета послушания, который вы дали!

– Этот обет не может распространиться на то, что не принадлежит мне! – горячо возразил я. – Повторение буживальской идиллии было бы посягновением на мою душу, а в ней я не властен. И лучше пусть я лишусь вечного спасения, чем совершу то, что противно моей чести!

– Ну, вот видите! – с радостью воскликнул Голицын. – Моя теория вполне оправдалась: ничто не бесцельно, и совершившееся только закалило и вооружило вашу душу. Но все-таки, какой дорогой ценой досталась вам эта закалка!.. Как я был бы рад, если бы нашелся человек, который отомстил бы за вас. Я готов бы и сам взяться за это дело, если бы представился удобный случай... А вы не стали бы ревновать меня? – с улыбкой спросил он.

– Девица Гюс как женщина отныне не существует для меня, князь! – гордо ответил я.

– Ну, не скажите! – задумчиво возразил Голицын. – Вы слишком долго жили в непосредственном общении с ней. А ведь ваша Гюс... это... это... – он остановился, как бы подбирая подходящее выражение. – Простите, если мое сравнение покажется вам оскорбительным, – горячо подхватил он снова, – но, если вы подумаете, вы должны будете согласиться со мной. Ведь ваша Франция разлагается, умирает; она нуждается в обновлении, а в теперешнем виде – это сплошная могила былых традиций, былого величия... Ну, а на могилах часто вырастают совершенно особые цветы. Они пышны, красивы на вид, но отравлены соками того ядовитого разложения, которым питались их корни... Ваша Гюс – это могильный цветок. Она выросла, развилась и распустилась на почве того ужасного падения нравов, которое всегда знаменовало собою начало падения всего государственного строя... Вспомните Рим, вспомните Византию... Да, да, дорогой меcье Лебеф, ваша Адель – опасный могильный цветок, и благо вам будет, если вы сумеете в будущем с большим успехом избежать нравственной заразы, которую распространяет вокруг себя это тлетворное растение. Но я верю в Божественную справедливость! Так или иначе, а вы – случайная, следовательно, напрасная жертва. И я верю в то, что найдется человек, который, сам не зная того, жестоко отомстит за грубое поругание вашей души!..

Я ничего не возразил на эту горячую речь милого князя, и мы молча расстались.

А на следующий день почтовая карета уносила нас к пестрым приключениям в далекой Московии: «могильный цветок», взлелеявшую его мамашу Гюс и меня, бедного мечтателя, отравленного его ядовитым, тлетворным ароматом...

Часть 2. Возлюбленная фаворита

Глава 1

Итак, мы мчались к далекой, неведомой России. Наше путешествие изобиловало всякими интересными эпизодами и происшествиями, но я не буду останавливаться на них, так как описание путевых приключений отвлекло бы меня от главной цели моего рассказа. Вместо этого я лучше постараюсь вкратце изложить положение дел в России, чтобы потом мне не пришлось прерывать рассказ досадными отступлениями и пояснениями.

В то время в России правила императрица Екатерина Вторая, которую современники называли «Северной Семирамидой» за ее исключительные государственные таланты.

Действительно, со времени смерти императора Петра I Россия была лишена дельных правителей. Императрица Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, правительница Анна, Елизавета Петровна, Петр III – вот тот безрадостный фон, который особенно ярко оттеняет крупную фигуру «Северной Семирамиды». При Екатерине прекратилось полновластие хищных фаворитов. Будучи более пылкой и более увлекающейся женщиной, чем все ее предшественницы, она в то же время не давала разуму подчиняться слепому чувству и строго отделяла свою жизнь женщины от обязанностей государыни. Так, например, веря в таланты Потемкина, она не лишила его власти тогда, когда он перестал быть другом ее сердца. Только один Платон Зубов составил исключение из этого правила. Но эпоха владычества Зубова принадлежала к позднему периоду царствования Екатерины II, когда она уже потеряла от старости былую ясность мышления. Да и к чему же судить о человеке-деятеле по самым неудачным страницам его жизни?

Конечно, я не хочу сказать, что под скипетром «Северной Семирамиды» России жилось уж очень хорошо и привольно. Не хочу я сказать и то, чтобы фавориты и любимчики были лишены возможности злоупотреблять своим положением. Я просто прикидываю личность императрицы к окружавшей ее среде и эпохе и сравниваю ее правление с правлением предшествующих государей. И если учесть все это, если принять во внимание, что при вступлении на престол положение самой императрицы было очень шатко, что то и дело вспыхивали заговоры и бунты, опиравшиеся на бесправное воцарение Екатерины, что казна была пуста, а страна разорена – надо признать особую твердость руки, ясность ума и величие души за кормчим, сумевшим провести государственную ладью сквозь все эти водовороты и мели.

В эпоху, к которой относится мой рассказ, императрице было тридцать четыре года. Урожденная принцесса Ангальт Цербская, она была вызвана покойной императрицей Елизаветой в качестве невесты молодому великому князю Петру, племяннику и наследнику Елизаветы. Принц Петр Голштинский приходился Елизавете Петровне племянником по женской линии, а по отцу, по духу и привычкам был типичнейшим немцем, да еще притом немцем неумным и дурно воспитанным. К тому же он был страстным поклонником прусского короля Фридриха Великого, которого императрица Елизавета считала своим злейшим врагом. Все это не могло содействовать развитию у императрицы особой симпатии к великому князю, тем более что вызов в Россию и объявление наследником принца Голштинского было делом не родственных чувств Елизаветы Петровны, а лишь политических соображений: ведь Петр Голштинский был более чем опасным претендентом на русский престол, так как по завещанию императрицы Екатерины I в случае смерти Петра II престол должен был перейти к нему. Таким образом пребывание голштинского принца за границей могло быть вечной угрозой спокойствию императрицы Елизаветы, ну, а его положение в качестве русского великого князя и наследника гарантировало ее от каких-либо заговоров с его стороны.

Поэтому немудрено, что императрица Елизавета относилась к великому князю недоброжелательно. Это же чувство Елизавета отчасти переносила и на молодую великую княгиню, которая жила буквально между двух огней, так как и муж, сознавая умственное превосходство жены, выказывал ей явную вражду и донимал разными неумными, часто неприличными выходками.

Все это заставляло Екатерину деятельно заняться самообразованием и чтением. И в то время, как императрица отдавала все свое время нарядам, балам и развлечениям, а великий князь строил игрушечные крепости и напивался допьяна в дурной компании, Екатерина в тесном кружке наиболее развитых придворных спасалась от нравственного холода и одиночества философскими беседами и образовательным чтением. Немало труда положила великая княгиня и на то, чтобы основательно изучить русский язык и русские нравы; собираясь стать русской императрицей, она хотела перестать быть немецкой принцессой.

В 1754 году для великой княгини блеснул новый свет: она почувствовала, что должна стать матерью, и надеялась найти радость и удовлетворение в материнстве. Но этот свет так же быстро погас, как и зажегся: когда у Екатерины родился сын Павел, императрица Елизавета взяла ребенка к себе и редко позволяла матери видеться с ним. Материнские чувства Екатерины были искусственно подавлены, более они не пробуждались в ней, и между матерью и сыном навсегда поселилась отчужденность, перешедшая впоследствии в открытую враждебность.

Все это не могло не толкнуть молодую женщину на торную дорожку чувственного искушения. Ведь она была молода, пылка, красива; она жаждала ласки, все ее существо тянулось к любви и сочувствию, а вокруг себя она встречала лишь пренебрежение, насмешку и недоброжелательство. При таких условиях – «кто первый встал, да палку взял, тот и капрал». Началась целая вереница увлечений, великая княгиня открыто изменяла супружескому долгу, от соблюдения которого ее избавляло пренебрежительное равнодушие мужа. Императрица очень терпимо относилась к грешкам такого рода, если они проделывались втайне, не на виду. К тому же она достаточно сильно не любила племянника, чтобы не злорадствовать по поводу его роли «рогатого potentата». Однако пылкий темперамент великой княгини давал все основания опасаться, как бы увлечения не разрослись в открытый скандал. Во избежание этого императрица Елизавета постоянно удаляла из Петербурга лиц, слишком открыто и долго пользовавшихся расположением Екатерины. Поэтому-то, хотя за «палку» брались многие, но настоящего «капрала» не оказалось. Этот «капрал» явился уже в последние годы царствования Елизаветы в лице Григория Орлова, впоследствии графа и всесильного фаворита.

Братья Григорий и Алексей Орловы происходили из незначительного дворянского рода. Особым умом они не отличались. Зато в отношении физических достоинств братья Орловы были вне сравнения. Рослые, коренастые богатыри, способные выстоять в бою «грудь против груди» с доброй сотней посадских, пить без перерыва и просыпа и в любой момент учинить любой дебош. Ну, а соответственно с этим всякое умственное напряжение казалось им невыносимым. Во всяком случае уж не философские беседы и не образовательное чтение связали Екатерину с Григорием. Но у Екатерины ума вполне хватало на двоих и более. Для осуществления ее планов ей нужна была не нравственная, а именно стихийная физическая сила. Между тем наступало время, когда вопрос «быть или не быть» встал перед Екатериной с особенной остротой. В таких случаях физическая сила очень часто является решающей. Она и была призвана решить положение, и положение было решено в пользу Екатерины.

Случилось это сейчас же после смерти императрицы Елизаветы, когда на карту было поставлено не только положение самой Екатерины, но и всей династии. Император Петр III с самого начала повел себя в высшей степени неумно. Не зная и не желая знать настроения и симпатии русского общества, он пошел против того, что было для этого общества священным. Все русское общество ненавидело Фридриха II и с восторгом приветствовало успехи русского ору-

жая, заставившего трепетать даже Берлин, а между тем первым актом воцарившегося Петра III были: отозвание русских войск и полнейший отказ от возможности воспользоваться выгодным положением, занятым Россией. И это восстановило против Петра III армию. Глумление над православием, отобрание церковных имуществ и попытка нарядить священников в костюмы лютеранских пасторов восстановили против Петра духовенство и простой народ. Служилую и родовую знать оскорбляло явное предпочтение, которое оказывалось всяким немецким авантюристам. Словом, не было такого общественного слоя, в котором правление Петра III не вызывало бы негодования и раздражения. Екатерина видела, что Петр ведет себя, семью и всю династию к явной гибели. Она не могла оставаться равнодушной зрительницей. К тому же ее собственное положение с каждым часом становилось все невыносимее. Петр публично оскорблял жену, открыто показывался со своей фавориткой Елизаветой Воронцовой и не скрывал намерения заточить императрицу-супругу в монастырь. Медлить было нельзя – это отлично сознавали сама Екатерина и кружок ее интимных друзей. В этом кружке главную роль играли граф Никита Панин, княгиня Дашкова (сестра Елизаветы Воронцовой; сестры были в большой вражде), братья Разумовские и братья Орловы. Панин и Дашкова были мозгом кружка, братья Орловы – мускулами его. Но все одинаково сходились в ненависти к императору Петру III и в обожании ласковой, приветливой, умной императрицы Екатерины. Неужели дать Петру III, этому грубому, вечно хмельному человеку, затравить ее? Нет, об этом не могло быть и речи! «Его» надо было устранить. Но вот дальше-то как быть?

А это «дальше» требовало серьезного обсуждения. Конечно, в силу завещания императрицы Елизаветы права на трон принадлежали после Петра малолетнему Павлу. Кроме того, если Петр III хотя бы с материнской стороны принадлежал к русскому царствующему дому, то Екатерина уже ни с какой стороны не была русской принцессой. Поэтому самое большее, на что она могла рассчитывать, не нарушая законов престолонаследия, – это на регентство при малолетнем императоре Павле. Но память о Бироне, Меншикове, Анне Леопольдовне и судьбе заточенного императора Иоанна Антоновича была еще свежа, и опыт прошлого достаточно ясно свидетельствовал, что регентство неминуемо превратится в губительную для страны борьбу партий. А ведь внутренние дела России и без того были из рук вон плохи, и малейшее замешательство могло вернуть «северного колосса» к существованию в качестве мелкой третьеразрядной державы. Поэтому положение обязывало забыть о правах и законах: надо было спасти династию и Россию.

Итак, переворот был решен, хотя день его совершения не был определен. Екатерина волновалась и все откладывала решительный шаг. Однажды она уже заготовила манифест о своем вступлении на русский трон, но на другой день манифест был сожжен, так как императрица снова признала нужным отложить задуманное дело. Быть может, эти колебания затянулись бы на долгий срок, если бы сам Петр III не заставил Екатерину решиться. Однажды, на торжественном обеде, он под пьяную руку назвал императрицу при всех «дурой». Вечером того же дня к Екатерине прибежали взволнованные Орловы: они получили наивернейшие сведения, что Петр III уже подписал указ о заточении императрицы в дальний монастырь. Теперь уже нельзя было раздумывать, и Екатерина дала Орловым разрешение арестовать императора. Так и было сделано – 28 июня 1762 года Петр III был сослан в Ропшу, а Екатерина II объявлена русской императрицей. Вскоре император скорпостижно скончался, и относительно причин его смерти ходили самые темные слухи. Что Петр III умер насильственной смертью, можно считать вне сомнений, но за границей открыто говорили, что Орлов, задушивший императора, сделал это с ведома императрицы. Я же считаю более вероятным и правдоподобным мнение, которого держались иностранные послы при петербургском дворе; они уверяли, что Орлов просто переусердствовал.

Так или иначе, но смерть Петра III значительно упростила положение императрицы, и, короновавшись летом 1762 года в Москве, она энергично начала заниматься упорядоче-

нием российских дел, пришедших в значительный упадок и расстройство вследствие неумелого правления в прошлом. Ко времени нашего приезда в Петербург и относится начало этой лучшей поры в жизни «Северной Семирамиды», вокруг которой, разумеется, кишело целое сплетение интриг. Мне непременно нужно хотя бы вкратце описать читателю узел этих интриг, чтобы стали понятными все те приключения, которые разыгрались в Петербурге.

Сделав свое дело, то есть возведя на трон императрицу Екатерину, сила (Орловы) и ум (Панин и Дашкова) стали смотреть друг на друга недружелюбно, добиваясь преимущественного влияния на императрицу. Княгиня Дашкова отличалась непомерным честолюбием, и ее раздражало, что Орловы мешали осуществлению ее тщеславных замыслов. Так, например, Орловы употребили все свое влияние, чтобы отговорить императрицу исполнить настойчивую просьбу Дашковой о назначении ее полковником гвардейского Преображенского полка. Но Дашкова успела забежать к императрице и снова уговорить ее. Императрица уже готова была подписать указ о назначении Дашковой полковником гвардии, как вдруг случайно пришедший Григорий Орлов увидел это и смеясь заметил, что никогда еще не видывал гвардейского полковника в интересном положении. Как оказалось, Дашкова действительно уже несколько месяцев готовилась стать матерью... Так полковничий патент и остался неподписанным.

Панин, питавший к Дашковой нежные чувства, был всецело на ее стороне, и Орловы сильно опасались его. Ведь уже с 1760 года граф Никита был воспитателем и обер-гофмейстером двора великого князя Павла Петровича, и это положение обеспечивало ему широкую возможность встречаться и говорить с императрицей. В пику Дашковой и Панину Орловы уговорили Екатерину простить Елизавету Воронцову и взять ее ко двору. Со своей стороны, Панин нажимал все дипломатические пружины, чтобы сосватать императрице женишка и тем отстранить Орлова. Когда же этот замысел не удался, Панин подготовил опасного соперника Григорию Орлову, и позднейший успех Потемкина в значительной степени был вызван происками хитрого Никиты.

Как же относилась сама Екатерина к своему окружению?

Можно сказать, что Орлова она никогда не любила, и, когда чувственное увлечение несколько уменьшилось, Григорий стал ей в тягость вследствие своей грубости, дерзости, алчности и бесцеремонности. К тому же императрицу оскорбляли, как женщину, его вечные любовные приключения; но, как государыня, она хотела стать выше женской мелочности и по большей части делала вид, будто ничего не знает. Кроме того, она боялась упреков в неблагодарности, да и на первых порах не чувствовала себя достаточно прочно сидящей на троне, чтобы, не приобретя новых друзей, отворачиваться от влиятельных старых. И это заставляло ее терпеть Григория Орлова и его брата.

Дашковой Екатерина не могла простить, что эта двадцатилетняя женщина по уму, образованию и бойкости пера могла соперничать с ней, Екатериной II. К тому же непомерное честолюбие и претензии княгини раздражали императрицу. И можно сказать, что именно в пику ей Екатерина приблизила ко двору фаворитку покойного Петра III, Елизавету Воронцову, сестру и злейшего врага княгини Дашковой. Вообще вскоре после вступления Екатерины на трон ее горячая дружба с Дашковой сменилась значительной холодностью.

Панину Екатерина тоже не очень-то доверяла. Это видно из того, что уже вскоре после своего воцарения императрица предлагала д'Аламберу занять место воспитателя Павла Петровича. Правда, когда д'Аламбер отказался принять этот почетный пост (в отказе знаменитого философа Екатерина обвиняла Дашкову, состоявшую в деятельной переписке с лучшими умами того времени), императрица уже не обращалась ни к кому больше, и Панин так и остался до совершеннолетия Павла Петровича на своем посту. Но она окружила графа Никиту целой сетью шпионов, так как Екатерине отлично было известно, что мечтой Панина было ограничить самодержавную власть за счет усиления олигархической власти русской знати. А при всех своих свободомыслящих речах Екатерина II очень ревниво относилась к самовластью, да кроме

того знала, что самая мрачная тирания в восточном духе – и та будет легче народу, чем аристократическая олигархия.

Вот каково было положение русских придворных дел, насколько мне удалось представить его себе впоследствии из личных наблюдений и разговоров с проживавшими в Петербурге французами и членами иностранных миссий.

Когда мы подъезжали к самому Петербургу, у Адели с матерью разыгрался довольно крупный скандал, в котором, по-моему, права была Адель. Надо вам сказать, что вследствие легкомысленности и самонадеянности Розы мы выехали совершенно невооруженными для путешествия и устройства в стране, ни языка, ни нравов которой как следует не знали. Но Роза уверяла, что она отлично знает русский язык, а Петербург ей знаком, как свои пять пальцев.

Пока мы ехали по немецким странам и прибалтийским провинциям, мы еще устраивались кое-как, благодаря тому, что я немного понимал и говорил на языке Фридриха Великого. Но в самой России дело пошло много хуже, так как оказалось, что весь багаж лингвистических познаний старухи Гюс заключался в двух словах – «Ssamovar» и «Nitchevo», если не считать еще одного словечка, бывшего, должно быть, очень неприличным, судя по смеху мужиков и смущению проезжавшей русской дамы. Оказалось также, что уверения Голицына, будто каждый русский владеет французским языком, как родным, были более чем преувеличены. Конечно, при дворе было трудно найти человека, не владевшего двумя-тремя иностранными языками, но ведь графы и князья не служат ямщиками или содержателями постоялых дворов.

И вот на последней остановке под Петербургом у нас разыгралась целая история. Адель захотела съесть пару яиц всмятку, но нам никак не удавалось растолковать хозяйке, что именно нам нужно. В конце концов Роза принялась махать руками и хлопать, приседая, как курица, снесшая яйцо. Должно быть, хозяйка вообразила, что старуха сошла с ума, и принялась испуганно креститься, а потом бомбой выскочила из комнаты. Мы видели из окна, как она принялась обсуждать это происшествие с мужем. Потом они, очевидно, пришли к определенному решению; муж куда-то скрылся, а через час нам принесли... жареную курицу! Курица была стара, скверно вычищена и еще хуже зажарена. Адель с отвращением съела кусок почтенной прабабушки птичьего двора, а когда мы сели в экипаж и направились далее, накинулась на мать со справедливыми упреками. Роза сначала отругивалась, как умела. Вдруг она густо покраснела, сделала величественный жест рукой и крикнула:

– Ты переходишь все границы! Приказываю тебе замолчать!

Адель широко раскрыла глаза, а потом чистосердечно расхохоталась.

– Ты приказываешь мне? – переспросила она, захлебываясь от смеха. – Мать, мать! Да ты верно окончательно выжила из ума! Никогда у тебя его много не было, а тут ты и с остаточков свихнулась! Она приказывает мне!..

– Да, я приказываю тебе, и ты должна слушаться меня! – с яростью ответила Роза. – Или ты забыла, что поклялась повиноваться мне? Ну-ка, попробуй нарушить свою клятву! Смотри, девка, Бог-то шутить с клятвопреступниками не будет!

Адель закусила губу и отвернулась к окну кареты: безбожие часто умещается с крайним суеверием, и Адель, вспомнив о своей клятве, была способна действительно поверить, что Сам Господь Бог Саваоф, грозно сверкающий молнией, снизойдет с небес, чтобы разрешить спор двух таких негодниц, как они.

Довольная своим торжеством Роза откинулась в угол кареты и сейчас же задремала, что часто бывало у нее после сильных волнений. Наступила тишина, прерываемая лишь грохотом колес по скверно вымощенной шоссейной дороге.

Адель оторвалась наконец от созерцания унылого пейзажа, с презрительной ненавистью посмотрела на спящую мать и затем с насмешливой грустью остановила на мне взгляд своих лучистых глаз.

– Что, братишка, – с ласковой иронией сказала она, впервые после долгого перерыва называя меня этим ласкательным именем, – видно, не очень-то умно необдуманно давать клятву?..

– Раз клятва дана, ее надо сдержать, – уклончиво ответил я.

– Разумеется, – сказала Адель, – в этом мире надо платить за все, и за глупость тоже! А с моей стороны было такой глупостью позволить «проклятой» обойти меня с этой дурацкой клятвой. Все равно я добилась бы своего, и теперь мне было бы несколько не хуже от того, что к дебюту у меня не было бы нового платья... Ну да, что сделано, того не воротишь. Да и не вечно же будет жить эта почтенная старушка: наверное, все дьяволы ада уже давно с нетерпением ждут ее к себе! А вот твое положение гораздо хуже моего! Я молода и проживу, вероятно, долго. Мне очень жаль тебя, бедный мой, – насмешливо прибавила она, – но тебе не выпутаться из тех сетей, в которые тебя вовлекла необдуманная клятва!

– Что об этом говорить!.. – недовольно заметил я.

– Нет, братишка, об этом именно надо поговорить, – сказала Адель, переходя на серьезный, ласковый тон. – Я далека от мысли злоупотреблять твоим подчиненным положением, и мне хотелось бы теперь же все с тобой решить. Мельком мы уже говорили об этом, когда ехали из Буживаля, теперь договоримся окончательно. Видишь ли, в душе я тебя все же очень люблю – не как мужчину, разумеется, а как хорошего, славного человека, который сделал мне много добра. Кроме того, я нахожу, что какой-нибудь секретарь или нечто в этом роде не может придать женщине такой шик, как... Скажи, Гаспар, ведь, наверное, Лебеф не полное имя и у тебя найдется какое-нибудь звонкое «де»? Ведь, помнится, ты говорил, что ты не из плохого дворянского рода?

– Собственно говоря, мое полное имя Лебеф де Бьевр, и я нахожусь в довольно близком родстве с маркизами де Бьевр. Но для того, чтобы быть мелким клерком у нотариуса или секретарем у девицы Гюс, достаточно оставаться просто Лебефом...

– Ошибаешься! Совсем наоборот! Я все время думала, как бы опозитизировать в глазах общества свое положение, и решила вот что. Ты будешь называться не Лебеф, а де Бьевр, я же пушу исподтишка слух, будто ты на самом деле – маркиз де Бьевр. Ты – идеальный рыцарь, полюбивший меня безгрешной любовью еще во времена моего детства и посвятивший с тех пор все свое состояние и время процветанию моего таланта. Боясь, как бы в далекой России я не стала жертвой своей доверчивости и наивности, ты не решился отпустить меня одну и последовал за мной, чтобы мужской рукой охранять мою честь. Согласись, что моя выдумка прелестна; она откроет тебе двери всех домов, ну, и мне тоже... поднимет цену!

В этот момент карету сильно потрянуло на кособоре. Роза проснулась от толчка и этим избавила меня от неприятной необходимости ответить что-либо Адели.

Глава 2

В Петербург мы попали к вечеру. Исполнив необходимые заставные обрядности, мы покатили по широкой, но неуклюжей улице, вымощенной бревнами. Во многих местах бревна сильно разошлись, и карета, купленная нами в Кенигсберге довольно подержанной, жалобно подвизгивала в этой тряске, с которой не могла сравниться самая злая морская буря.

– Ну-с, – сказала Адель, – не может ли теперь почтительная и послушная дочь спросить у своей мамы, которая так отлично знает русский язык и петербургскую жизнь, куда мы собственно едем и в какой гостинице остановимся на ночлег?

Роза густо покраснела. Хмель, под влиянием которого она требовала восстановления родительского авторитета, был несколько рассеян сном, и теперь старуха еще острее чувствовала затруднительность положения.

– В мое время, – неуверенно сказала она, – была отличная гостиница на улице, которую я знаю наизусть, но хоть убей – не могу сейчас припомнить, как она называется. Помню только, что это название имело что-то общее с водой или каким-то напитком...

– Может быть, «Grande rue de Sivouha» (Большая Сивушная улица.)? – ехидно подсказала Адель, которая вспомнила рассказ Голицына о сивухе как об излюбленном напитке простонародья.

– Кажется, что-то в этом роде, – смущенно согласилась старуха, к величайшему удовольствию Адели. – Но, во всяком случае это неважно. Наверное, ямщик подвезет нас к какой-нибудь гостинице.

Однако, должно быть, и ямщик не знал, куда нас везти, так как в ту же минуту карета остановилась, и вскоре у окна показалось угрюмо-разбойничье бородатое лицо нашего возницы, который что-то спросил на своем варварском языке. Ну и комедия поднялась тут!

Ямщик что-то сердито лопотал по-русски; Роза, страстно жестикулируя, тараторила по-французски, призывая на голову мужика все громы и кары небесные за то, что он «не хочет» понять ее. Около кареты стал собираться народ. Должно быть, ямщик говорил Большая Сивушная улица, что-нибудь очень злое и дерзкое, – его слова нередко сопровождались взрывами грубого смеха толпы. Эти взрывы достигли своего апогея, когда Роза несколько раз повторила свое «Гран рю де Сивуха». Наконец ямщик презрительно махнул рукой и ушел вперед к лошадям. Роза выглянула в окно и вдруг неистово закричала по-французски:

– Нет, да вы посмотрите, люди добрые, что делает этот разбойник! Ведь он лошадей выпрыгает! А! Как это вам понравится! Да ведь это что же будет?

Разумеется, ямщик не обращал внимания на непонятные ему проклятия и угрозы старухи и продолжал методично выпрыгивать лошадей, видимо, собираясь оставить нас посреди улицы и ускакать прочь. Что и говорить, ведь не мог же он возить нас по всему городу?

Неизвестно, чем кончилась бы вся эта история, если бы внезапно около нас с другой стороны кареты не послышался звонкий, мелодичный хохот. Мы обернулись и увидели очаровательную брюнетку со смуглым лицом и жгучими глазами, сидевшую верхом на породистой лошади.

– Простите мне мой глупый смех, – бегло, но неправильно и с заметным итальянским акцентом сказала черноглазая амазонка, – я понимаю, что над несчастьем стыдно смеяться, но все это так комично, так комично... – Она вновь засмеялась, а потом продолжала: – Нельзя ли узнать, кто вы, и не могу ли я быть вам полезной? Я – примадонна здешней оперы, Тарквиния Колонна!

– Ах, сударыня! – затараторила Роза, высовываясь в окно, – вас послало к нам само небо! Вы сами – иностранка и понимаете положение культурных людей, попавших в эту варварскую

страну... Ай! – пронзительно крикнула она, хватаясь за нижнюю часть спины и отскакивая, словно ошпаренная, от окна.

– Сударыня! – сказала Адель, которая сильным щипком заставила не в меру болтливую старуху отскочить от окна и теперь заняла ее место. – Мы – французы, не знающие никого в Петербурге. Нам нужно где-нибудь остановиться, но мы не знаем где, а ямщик не понимает нас и хочет выпрягать лошадей и поставить нас таким образом в окончательно безвыходное положение. Надеюсь, что вы выручите нас и укажете, как нам быть, тем более что мы с вами – товарищи по искусству. Неужели вы – знаменитая Тарквиния Колонна, итальянский соловей? А я – начинающая драматическая артистка Аделаида Гюс!

– Как? – вскрикнула Колонна, – вы – Гюс? Та самая, о которой так много кричат теперь и которую с нетерпением поджидает здешняя драматическая труппа? И какая вы молоденькая! да хорошенькая! Я с удовольствием расцеловала бы вас, но сейчас нельзя терять время: этот варвар продолжает выпрягать... Хотя я и сама не очень-то сильна в русском языке, но назвать улицу сумею. Я направлю вас в гостиницу мадам Гуфр на Мойке. Там прилично, комфортабельно и понимают по-французски. Но погодите, я сейчас скажу ему и сама, пожалуй, провожу вас!

Певица с видимым трудом сказала несколько слов ямщику, но тот сумрачно отмахнулся от нее и что-то ответил грубым, дерзким тоном.

Колонна вспыхнула, ее глаза загорелись гневом.

– Ну погоди, негодяй, – сказала она по-французски, оглядываясь по сторонам, – ты еще не знаешь, кто я такая! Князь! Князь! На одну минутку! – крикнула она, заметив молоденького рослого офицера, проезжавшего верхом по улице в сопровождении денщика.

Офицер подъехал, и Колонна рассказала ему, в чем дело.

Тогда офицер молча козырнул певице, спешился, отдал поводья денщику и подошел к ямщику. Не говоря ни слова, он ударил мужика кулаком по лицу, затем грозно крикнул что-то и в назидание вытянул его по шее. Ямщик торопливо бросился запрягать вновь, выплевывая на ходу кровь из разбитых зубов. Толпа, еще недавно грубо хохотавшая с ямщиком, теперь захохотала над ним.

Через несколько минут лошади были опять впряжены, ямщик вскочил на козлы и быстро погнал лошадей. Колонна поскакала рядом с каретой. Офицер-спаситель почтительно откозырял певице и поехал своим путем дальше. Теперь мы уже без всяких приключений добрались до гостиницы. Колонна была так любезна, что проводила нас до самого места и, зная петербургские цены, не дала госпоже Гуфр уж очень ограбить нас. Таким образом мы получили приличные комнаты за довольно сносную цену.

Колонна посидела немного с Аделью и ушла, наговорив в три минуты столько, сколько могут наговорить женщины, то есть очень много. Из своей комнаты я слышал их разговор, ясно долетавший до меня благодаря тому, что оба номера были соединены дверью, заклеенной тонкими обоями.

– Милочка, – спросила между прочим черноглазая Тарквиния, – а что это за интересный мужчина приехал с вами?

– Это – мой друг де Бьевр.

– Ваш друг? – с изумленным отчаянием перебила итальянка. – Неразумное существо! Да ведь вы восстановите против себя всю русскую знать, ведь вы не сделаете карьеры здесь! Глупенькая, да ведь Россия – эльдорадо для хорошенькой артистки!

– Позвольте, дорогая моя, – остановила ее Адель. – Я вижу, что вы не поняли меня. Бьевр – мой друг, но не больше. У нас, во Франции, существует очень хорошая поговорка, что в Италию со своими макаронами, а в Бургундию со своим вином не ездят. Я вполне разделяю это мнение и никогда не приехала бы в Россию со своим сердечным дружкой. Но Бьевр... Ах, дорогая моя, вы не можете представить себе, что это за человек! Ведь это – рыцарь без страха

и упрека! Это – какой-то пережиток из добрых старых времен, когда мужчина был способен посвятить женщине всю свою жизнь, не требуя от нее ничего взамен!

– Вы меня крайне заинтересовали, милочка! – заметила Колонна. – Неужели вы хотите сказать, что...

– Ах, душечка, вы мне так понравились, что я вам все расскажу! Прежде всего скажу вам по секрету, что моего Гаспара зовут маркизом де Бьевр, но он из скромности называет себя просто Бьевром, а во Франции вздумал называться Лебефом. Это – очень ученый и образованный человек, большой друг искусства и артистов. У него было недурное состояние, но он его почти все растратил, хотя, несмотря на то, что он молод, не кутит и не грешит никакими излишествами. Все его деньги ушли на поддержку начинающим артистам, художникам и поэтам. Меня он встретил на улице маленькой, голодной, оборванной девчонкой. Почему-то ему сразу показалось, что на моем лице лежит печать таланта, и он взялся за мое артистическое воспитание. Когда я получила приглашение в Петербург, он настоял на том, чтобы ехать вместе со мной. «Я вас не стесню и ни в чем вам не помешаю, – сказал он мне, – я лишь буду стоять на страже ваших интересов и чести. Вас легко могут обмануть на деловой почве, да и всякий надменный аристократ надругается над вами, воспользовавшись вашей неопытностью. Вот тут-то эти господа и узнают, каково иметь дело с маркизом де Бьевр!»

– И у вас с ним никогда ничего не было? – с любопытством спросила итальянка.

– И вы еще спрашиваете, дорогая! Он – вообще какой-то не от мира сего и не обращает внимания на женскую прелесть, ну, а я... Да ведь вы сами – женщина и понимаете, что такому человеку, как Бьевр, можно поклоняться, его можно боготворить, но любить его простой греховной любовью... Фи!

– Чудны дела Твои, Господи! – сказала Колонна. – Ну, да чего не бывает на свете! Однако вам надо отдохнуть с дороги. Если позволите, я наведаюсь к вам завтра утром. Может быть, я в чем-нибудь смогу быть вам полезна.

– Душечка! Да приходите к завтраку! Я вам так благодарна, так благодарна!

– Полно!.. Разве мы не должны помогать друг другу? Что за пустяки! Но я с удовольствием принимаю ваше приглашение и буду у вас. Если хотите, я могу привести вам одного человечка, который будет вам очень полезен. Только это – большой секрет! Мы избегаем слишком открыто показываться вместе, так как... Ну, да вы меня не выдадите! Это граф Алексей Орлов, брат влиятельнейшего фаворита самой Екатерины. Императрица серьезно подумывает о том, чтобы женить моего Алексея, и потому нам особенно афишироваться нельзя. Но это ничего! Словом, если позволите, я приведу его завтра с собой, и мы премило позавтракаем. Орлов будет вам очень полезен, душечка; вы сразу благодаря ему войдете в избранный круг русской знати.

– Ах, как я благодарна вам!.. Я так рада, рада...

– Еще одно слово, душечка! Вы уж не сердитесь, если я буду с вами вполне откровенна, но это для вашей же пользы! Должна вам сказать, что ваша мамаша производит... как бы вам это сказать?... впечатление...

– Отвратительнейшей ведьмы на свете! – договорила Адель.

– Ну, зачем уж так сильно! Я верю, что она – очень милая женщина, но в нашем кругу – в кругу хорошеньких, нестрогих женщин и щедрых кутил – мамаш вообще не очень-то долюбивают.

– Полно! – остановила ее Адель. – Я отлично понимаю, что такая мегера, как моя мамаша, к нашей компании не подходит. Вы хотите сказать мне, что лучше, если я не буду знакомить мамашу и вводить ее в круг? Да я и не собиралась этого делать, и если вы придете завтра со своим дружкой к завтраку, то мамаша вы за столом не встретите!

– Ну, вот и отлично! – сказала певица. – Мы премило позавтракаем вчетвером! А теперь до свиданья, душечка! Спите спокойно! Завтра к часу ждите гостей!

Послышался звук крепких поцелуев, и итальянка ушла.

Лежа в кровати, я с досадой и облегчением обдумывал последствия басни, придуманной Аделью. Досадовал я потому, что вообще ложь противна моей натуре. Но тут я не мог не согласиться, что эта басня освобождает меня от двусмысленности положения. Ведь, как секретарь на жалованье, я не мог свободно вращаться в обществе всех этих важных господ, а как дворянин и образованный человек – не мог довольствоваться положением и обществом прислуги. Но ведь у Адели была непонятная страсть вечно таскать меня с собой, и во Франции из-за этого не раз бывали неприятные для меня шероховатости.

Однако все же какое проклятие тяготело надо мной из-за греховного тумана, закружившего мне голову и давшего связать себя этой унижительной клятвой! Не дай я дьяволу одурачить меня, не поддайся я чарам Сесили, я не увлекся бы Аделью за минуту обладания и не дал бы ей всей своей жизни в рабство. Насколько иначе сложилась бы тогда моя жизнь! Я был бы уважаемым нотариусом, женился бы на какой-нибудь чистой, хорошей девушке, не знал бы всей этой лжи, грязи, гадости...

Но что сетовать и оплакивать невозвратимое? Надо уметь расплачиваться за свои ошибки. Ну, и плати, Гаспар; плати той ценой, которую ты сам назначил!

Эти горькие думы долго не давали мне заснуть, и было уже около половины первого следующего дня, когда Адель постучала ко мне и попросила меня выйти в общую комнату.

– Я хотела посоветоваться с тобой, Гаспар, – сказала она. – Надо шегольнуть и угостить наших гостей как следует. Но только я во всем этом ровно ничего не понимаю!

– Мне кажется, – сказал я, – нужно просто вызвать госпожу Гуфр и сказать ей, что нам требуется шикарный завтрак на четыре персоны. Наверное, она в грязь лицом не ударит. Конечно, это влетит нам в копеечку, но что же поделать, раз это нужно!

– Ты совершенно прав! – обрадованно сказала Адель и направилась к дверям, чтобы позвать прислугу.

Но в этот момент в дверь постучали, и, когда Адель крикнула «войдите!», в комнату вошла Тарквиния Колонна с высоким, широкоплечим красавцем, в каждой руке которого было по объемистому кульку.

– Вот представляю – мой друг, граф Алексей Орлов! – затараторила Тарквиния, целуясь с Аделью. – Извините, что мы пришли слишком рано, но так уж вышло. Вы не сердитесь, милочка?

– Смею ли я сердиться! – приветливо ответила Адель. – Я жалею лишь, что вышло так неловко: ведь я как раз собиралась распорядиться завтраком...

– И не успели? – подхватил Орлов. – Вот это восхитительно! Надо вам сказать, мадемуазель, что у госпожи Гуфр отличный повар-француз и отвратительная кладовая. Ну, а я как раз получил вчера вечером целый транспорт разных деликатесов. Вот я и подумал: ничего подобного хозяйка вам предложить не сможет, так захвачу-ка я кое-чего по малости сюда! Ну и захватил! Вы позволите мне распорядиться?

– Граф, мне, право, совестно, – смущенно ответила Адель, – вы сами будете хлопотать, возиться...

– А кому же, как не мне, заниматься этим? – весело сказал Орлов, скаля ослепительно белые зубы. – Вот по части философии и прочей премудрости я действительно не силен, ну а уж еду какую ни на есть сколотить, так поди-ка, поищи другого такого, как я! – он засмеялся, и его смех был похож на ржанье дикого степного жеребца. – Вы позволите?

Орлов вышел в коридор и приказал позвать повара.

Вошел почтенный месье Пето и низко-низко поклонился графу.

– Вот что, друг Пето, – сказал ему Орлов. – Забери-ка ты эти кульки и сервируй нам завтрак. В одном у меня вино – распорядись одно согреть, другое остудить – словом, что какому сорту требуется. А вот в этом кульке закуски и живность. Закуску ты нам сервируй сейчас же.

Из живности ты найдешь здесь стерлядей и птицу. Стерлядей свари нам в белом вине. Из птицы здесь индюшка и рябчики. Индюшку надо будет начинить рябчиками, да не желей трюфелей! Ну, да такому мастеру дела, как ты, нечего рассказывать. Так постарайся же на славу, дружище. И главное, сервируй нам поскорее закуску, потому что я умираю от голода!

Не прошло нескольких минут, как лакеи принялись сервировать завтрак. Чего-чего тут только не было! Все лучшее, что могли дать в закусках и винах все страны мира, было собрано здесь. Мы впервые познакомились здесь с русскими лакомствами, о которых много слышали, но никогда не пробовали: с икрой двух сортов и особо приготовленной рыбой под названием балык и тешка. Германия была представлена ветчиной и устрицами, Франция – вином и паштетами, Англия и Швейцария – сыром, Италия – омарами, Испания – какой-то удивительной рыбой, названия которой я не помню. А впереди еще были деликатесы в виде стерлядей и фаршированной индюшки!

Хорошая еда и благородное вино всегда настраивают компанию на отличное расположение духа. К тому же Орлов был заразительно весел, все время шутил, смеялся, острил, пил и ел сам за четверых и умел уговорить пить и есть других. В общем, могу сказать, что наш завтрак удался на славу.

– Ну-с, господа, – сказал нам после завтрака Орлов, – позвольте мне от души поблагодарить вас за компанию. Давно уже я так легко и весело не проводил время, как с вами. Я надеюсь, что сегодня мы не в последний раз видимся! Видите ли, сознаюсь вам откровенно: благодаря маленькой услуге, которую мы оказали царице, и благодаря положению, занятому при государыне моим братом Григорием, везде в обществе меня принимают с распростертыми объятиями: мигни только – и застольных товарищей не оберешься. Но я чувствую, что тут много фальши, да и вся эта чопорная, надутая знать мне не по душе. Ишь тоже, чем хвастаются! Что их деды да прадеды то или се сделали! Нет, мы с братом на чужой или там дедовской шее не выезжаем, мы – сами себе деды. Вот поэтому-то я и дорожу обществом артистов, свободных людей! Позвольте мне чокнуться с вами за приятное знакомство!

Мы чокнулись, выпили, и Орлов продолжал:

– Так давайте же чаще видаться, а? У меня подобралась очень милая компания простых, нецеремонных людей, и мы прелестно проводим время. Да вот милости прошу завтра вечером ко мне, в мою загородную дачу на Фонтанной. Я пришлю за вами карету. Надеюсь, вы не откажете мне, сударыня? – обратился он к Гюс.

– Я очень польщена и благодарна, граф, и с удовольствием буду, – ответила Адель.

– Конечно, и вы не откажете посетить меня, маркиз? – обратился Орлов затем ко мне.

– Благодарю за честь, граф, но спешу оговорить, что я – вовсе не маркиз, так что...

– Ну, не маркиз так не маркиз! – захохотал Орлов, хитро подмигивая мне (очевидно, басня, придуманная Аделью, уже была передана ему: то-то он с самого начала посматривал на меня с любопытством). – Что там титулы! Вы только приезжайте, а там – не хотите быть маркизом, так это – уже ваше дело. Ну-с, а теперь как вы предполагаете воспользоваться временем, господа?

– Мне нужно в наш театр, но я не знаю, как туда добраться, а Бьевр предполагал побывать в нашем посольстве, – ответила Адель.

– Душечка, – сейчас же сказала Тарквиния, – если хотите, я свезу вас в театр, а потом поедем кататься...

– В таком случае предлагаю вам вот что, – сказал Орлов. – Я похищаю маркиза... то есть, простите, господина де Бьевра, и pošлю скорохода Фильку за экипажем для вас. Вы тут потолкуйте о своих дамских делах, а тем временем вам и карету подадут. Ну-с, едемте, месье, я завезу вас в посольство! Имею честь кланяться, сударыня, и позволяю себе надеяться, что завтра вечером увижу вас у себя!

Орлов галантно поцеловал руку у Адели, и мы спустились вниз, где его ждала карета.

Когда мы тронулись в путь, граф сказал мне:

– Здесь о девице Гюс говорят просто чудеса. В одной части – а именно в отношении ее красоты и ума – я убедился, что эти толки не преувеличены. Но действительно ли она – такая большая артистка, как уверяют? Мне просто не верится: слишком уж много даров послала природа ей одной!

– О, да, граф! – горячо сказал я. – Талант девицы Гюс вне всяких сомнений! Ни наружность, ни ум не могут идти в сравнение с ее дарованием. Ее ум – поверхностен, ее наружность – скорее банальна и может быть названа «*beaute du diable*» (Дословно: «красота дьявола»; это выражение означает, что женщина привлекательна не действительной строгостью линий, а молодостью, свежестью и хорошим сложением.). Не спорю, она обаятельна; но ее обаяние – в удивительной изменчивости и подвижности натуры, способной одинаково и на добро, и на зло, в разнообразии и богатстве жизненных струн, не касаясь вопроса об их качестве... Вообще ум и красота Гюс очень оспоримы, и многие находят ее грубой и вульгарной. Зато ее талант совершенно неоспорим! Если бы вы знали, как она преображается на сцене! Ведь я знаю ее с детства, я всегда при ней, и все-таки каждый раз, когда я вижу ее на сцене, я не верю себе, что это – Адель Гюс! Иной раз сидишь у нее в уборной перед ее выходом и возмущаешься, какая она капризная, резкая, жестокая. Но вот она вышла на сцену и произнесла какие-нибудь дивные слова о величии и кротости женской души, о торжестве добродетели, о христианском смирении, и чувствуешь, что в этот момент – о, только в этот момент! – это ее собственные искренние слова и мысли! Я никогда не забуду впечатления, которое на меня произвел ее первый дебют в «Заире». Перед самым выходом она сидела безвольная, подавленная, слабая, с трудом поднялась с кресла, чтобы идти на сцену; я боялся, что она упадет не дойдя. Но стоило ей выйти на сцену – и куда девались слабость, болезненная немощь, волнение! Она, эта молоденькая девчонка, не ведавшая сильных страстей, не знавшая душевной борьбы, сразу воплотила в себе страдающую, страстную женщину...

Я увлекся: талант Адели и ее сценическая интерпретация были для меня такими темами, на которые я мог говорить часами без передышки. Так и в этом случае я стал страстно разбирать саму пьесу, указывая, какие оттенки, какое понимание характера внесла в нее Адель.

Орлов ни разу не перебил меня. Откинувшись в угол кареты, он с интересом и любопытством смотрел на меня. Наконец я спохватился, покраснел и стал смущенно извиняться за свою многоречивость.

– Да полно вам! – ответил мне Орлов, пожимая широкими плечами. – Чего вы извиняетесь? Уверяю вас, я с большим интересом слушал! Конечно, я не все понял, признаться, ведь я в высоких материях не мастер. Но меня захватили ваша горячность, тонкость суждений, начитанность... О, вы придетесь нам очень ко двору, месье де Бьевр! Наша повелительница очень любит литературу и философию, а вы знаете, что придворные считают нравственным долгом копировать государей со всеми их благородными и неблагородными страстями, увлечениями и чудачествами. Если вы произнесете такую горячую речь перед кружком наших придворных дам, то сразу победите их сердца... Впрочем, – засмеялся он, – я и забыл, что вы стоите выше побед, выше земных страстей! Ведь вы – рыцарь без страха и упрека! Абелар (Абелар – известный богослов XI века, прославившийся не столько своими сочинениями, сколько любовными перипетиями с девицей Элоизой, племянницей каноника Фульбера. Отношения Абелара к Элоизе были сильно идеализированы, и имя Абелара получило распространенное значение символа подавления страстей ради богоуглубленности духа. Но исторические данные не вполне оправдывают это отождествление Абелара с Прекрасным Иосифом. Так, вполне доказано, что Абелар выкрал Элоизу из дома дяди, что Элоиза вскоре после этого родила сына и что Фульбер в наказание за растление племянницы приказал оскотить Абелара. Конечно нечего удивляться, если после этого отношения Абелара и Элоизы оставались совершенно чистыми.), помноженный на Иосифа Прекрасного! Но это еще более увеличивает ваши шансы на победы

при нашем дворе. Ведь человек уж так создан, что зачастую превыше всего ценит качество, которым не обладает сам. Однако вот мы и приехали к вашему посольству! Всего хорошего, дорогой месье де Бьевр. Я очень рад случаю, доставившему мне знакомство с вами, и надеюсь, что оно так не прекратится. Во всяком случае жду вас завтра непременно к себе!

Он с силой пожал мне руку, и я вышел из кареты.

Глава 3

Загородный дом Алексея Орлова был с виду мал, неказист и мрачен. Окна были плотно заставлены ставнями, и ни единого луча не вырывалось из неприглядного, покосившегося подъезда. Но все это было сделано нарочно, чтобы о веселых пирушках Орловых не проводали те, «кому о том знать не надлежало».

Когда мы вошли в темные сени, мальчик-казачок плотно притворил входную дверь и толкнул следующую, из которой показался слабый свет, достаточный, чтобы дойти до двери. Так мы попали во вторые сени, освещенные очень плохо и тускло. Но из вторых сеней мы попали в просторный вестибюль, настолько ярко залитый светом, что мы с Аделью невольно зажмурились.

Два арапа в золототканых ливреях подскочили к нам и помогли освободиться от верхнего платья. Третий ударил в висевший у мраморного простенка гонг, и сейчас же на уставленной цветочными деревьями площадке, к которой из вестибюля вели три мраморные ступеньки, показался величественный мажордом с жезлом в руках.

– От имени сиятельного графа приветствую дорогих гостей! – важно провозгласил он на отличном французском языке, сопровождая эти слова низким, но полным достоинства поклоном. – Не соблаговолят ли высокие господа последовать за мной?

Мажордом повел нас анфиладой довольно высоких комнат, обставленных со сказочной роскошью. Наконец мы пришли в большой полуосвещенный зал, сквозь громадные окна и стеклянную дверь которого виднелась большая веранда. Дойдя до середины зала, мажордом три раза стукнул жезлом о пол, и арапчонки, стоявшие у двери, широко распахнули перед нами обе ее створки. Не успели мы подойти к дверям, как на пороге показалась высокая, широкоплечая фигура Алексея Орлова.

– А, дорогие гости! – приветливо воскликнул он. – Рад видеть вас, очень рад! Пожалуйста сюда, к нам! – Он поцеловал руку Адели, крепко пожал руку мне и предложил свою Адели, после чего, выводя нас на веранду, весело сказал: – У нас на этих вечеринках установлено одно правило, которое никто не смеет преступить. Это правило гласит: чтобы не было никаких правил! Кто что хочет делать, тот то и делает, лишь бы не было ссор да свар. Если есть хочется, а ужина не дожидаться – там в углу стол накрыт, подходи, пей да ешь, не дожидаясь, пока хозяин упрасивать начнет. Вина захотел – только мигни лакею, и, какое лишь вино на свете существует, в один миг подадут! Счастья в картишках попробовать захотелось – вон глядите, как там ярко сражаются добрые молодцы! Погулять захотелось – весь парк к услугам. С дамой полюбезничать охота пришла – в парке беседок на всех гостей хватит. А надоела кому вся эта музыка – берись за шляпу, да и ступай не прощаясь домой! Только и всего! Господа! – громовым голосом закричал он гостям, – минуту внимания! Перед вами юная, но уже ослепительная звезда драматической сцены, девица Аделаида Гюс, и маркиз де Бьевр, желающий быть просто де Бьевром, в чем мы его и уважим! Прошу любить и жаловать! А где же хозяйushка? Тарквиния! Опять убежала любезничать! Да, уж можно сказать, она в строгости соблюдает наше единственное правило и не признает никаких правил! – захохотал Орлов.

– Я здесь, мой повелитель! – раздался в этот момент мелодичный голос Тарквинии Колонны, внезапно вынырнувшей из тьмы парка и поднимавшейся на веранду под руку со стройным, элегантно одетым старцем. Я забыла свой долг и увлеклась! – трагически продолжала она. – Но кто же может противостоять чарам обольстительного синьора Бальтазара!

– О, да, – улыбаясь ответил Орлов, – синьор Галуппи (Бальтазар Галуппи, венецианец, был известным композитором и виртуозом на клавесине. Шестидесяти лет от роду он приехал по приглашению императрицы Екатерины в Россию, где управлял придворным оркестром. В Петербурге особенным успехом пользовались его оперы «Покинутая Дидона» и «Деревенский

философ». Между прочим, Г. был учителем Бортнянского. Управляя некоторое время придворной певческой капеллой, Г. и сам написал несколько духовных православных композиций.) непобедим, и я сильно подозреваю, что вскормившие его музы украли для него с Олимпа немножко амброзии (По мифологии, олимпийские боги питались амброзией, которую запивали нектаром. Амброзия имела свойство сохранять богам вечную юность и бессмертие.), что и делает его неувядающим!

Тарквиния подбежала к нам, расцеловалась с Аделью, ласково поздоровалась со мной и затараторила о том, какую дивную оперу пишет в данное время синьор Галуппи и какая великолепная партия будет у нее, Тарквинии, в «Покинутой Дидоне». Это дало мне возможность несколько оглядеться по сторонам.

От веранды тянулся большой парк, о величине которого можно было судить по лампионам, украшавшим главную аллею. При слабом свете этих лампионов виднелись какие-то тени, и из разных уголков парка доносились молодые голоса, женский смех и пение.

Веранда, на которой мы находились, была величиной с порядочный зал. Диванчики и небольшие группы кресел, кокетливо заставленные цветущими деревьями в кадках, образовывали уютные уголки, почти сплошь занятые гостями. Среди последних значительно преобладали мужчины, но все женщины, которых я увидел, были молоды и красивы словно на подбор. Далее я убедился, что то же самое можно сказать и о всех гостях Орлова, причем среди них русских было очень мало: подавляющее большинство женщин принадлежало к иностранному артистическому миру.

В левом углу находился громадный стол, заставленный винами и закусками. Время от времени кто-нибудь из гостей подходил туда, закусывал, пил и опять уходил к какой-либо группе.

В правом углу толпились почти исключительно одни мужчины: там шла крупная игра. Золото целыми столбиками передвигалось от одного игрока к другому, и в минуту выигрывались и проигрывались целые состояния. И так смешно было видеть, когда туда подходила дама, тревожно ставила один золотой, казавшийся крайне ничтожным около золотых столбиков, и с явной дрожью и жадным волнением на лице принималась следить за исходом игры.

Среди игроков выделялась богатырская фигура молодого красивого офицера, которого я сразу узнал по сходству с Алексеем Орловым: это был знаменитый фаворит императрицы Екатерины, почти неограниченный повелитель России в то время, «сам» Григорий Орлов. Но сходство братьев было чисто внешним, и с первого взгляда бросалась в глаза значительная разница между ними.

Григорий был красивее Алексея, черты лица у него были гораздо тоньше. Зато в Алексее была масса добродушия, мягкости, тогда как лицо Григория дышало надменностью и жестокостью. Говорили, будто Алексей задушил императора Петра III. Если это так, то я вполне верю в правдоподобность одной из версий, которая гласила следующее: Алексей обедал у экс-императора в Ропше; за столом все перепились, и Петр вздумал возиться с богатырем Орловым; во время шуточной борьбы Петр сказал Орлову какую-то дерзость, Алексей в наказание стиснул Петра покрепче, и объятий такого медведя, как Алексей, оказалось совершенно достаточно для слабосильного, худосочного, больного сердцем Петра.

Быть может, что все это произошло и не совсем случайно, что в Орлове в момент борьбы вспыхнула старая, затаенная злоба, для которой у него было много причин. Но, нечаянно или умышленно совершил Алексей это страшное дело, все же я готов ручаться, что он не готовился к нему. А будь на его месте Григорий, тот умаслил бы Петра лстивыми речами, успокоил бы его подозрительность и потом подкрался бы сзади, чтобы сознательно, спокойно, уверенно задавить его!

Впоследствии мне приходилось не раз видеть обоих братьев в моменты сильного раздражения. Оба брата были очень вспыльчивы, отличались страстной, кипучей натурой. Но как

различно выражалась у них эта страсть! Если вспылит, бывало, Алексей, то сразу видишь, что в нем поднялась стихийная, неукротимая сила; что он уже не может рассуждать и соображать; что сейчас он пойдет крушить и ломать все перед собой. Но если почему-либо вспышка разрешалась благоприятно, то тем дело и кончалось, и если Алексей не мстил сразу рассердившему его человеку, то он редко делал это и потом. А Григорий мог отлично владеть собой в минуты самых страстных вспышек злобы, но зато он ничего не прощал и мог долгое время таить в душе месть. Словом, Алексей был способен на любое преступление, но только не предумышленное, Григорий же мог годами готовить чью-нибудь гибель.

Я внимательно следил за тем, как играл Григорий. При выигрыше в его глазах вспыхивало надменное торжество, при проигрыше по его лицу с молниеносной быстротой проскальзывала злобная, раздраженная судорога. А ведь, как ни крупна была игра, состояние Григория было почти неисчерпаемо, самый крупный проигрыш не мог бы нанести ему заметный ущерб. Да и проиграй он хоть все! Разве на следующий же день императрица, нуждавшаяся в нем в данный момент, не покрыла бы всех его потерь? Ведь в российской казне зачастую не хватало денег лишь на необходимые реформы, для удовлетворения же хищных appetитов временщиков деньги находились всегда! Следовательно, не в денежной потере было тут дело, а в той надменности, в том самолюбии, которое требовало, чтобы он, Григорий Орлов, был первым во всем. Не раз бывало, что, выиграв у небогатого человека крупную сумму денег, Григорий отказывался принять выигрыш и великодушно дарил долг несчастливому партнеру.

И все время, пока Тарквиния Колонна быстро-быстро лопотала какие-то милые, невинные глупости об искусстве, я с любопытством всматривался в игру страстей, так ярко отражавшуюся на надменном, жестоком, нагло-красивом лице фаворита императрицы.

Наболтав с три короба, Тарквиния утащила Адель и убежала с нею в парк.

– Ну, что же мы с вами делать будем? – сказал Алексей Орлов, с фамильярной ласковостью взяв меня под руку. – Знаете что? Давайте-ка мы закусим да выпьем! До ужина еще ноги протянешь, а у меня такая икорка есть, что пальчики оближешь! Ее монахи с Волги матушке-царице в презент прислали, матушка ее брату Григорию подарила, а Гриша со мной поделился. Ну и икра, я вам скажу! Малина! Молодцы – святые отцы!.. Знают толк в хороших вещах. Так пойдем, а?

В сущности говоря, есть мне не хотелось, но я отлично понимал, что буду в тягость хозяину, если не доставлю ему этого удобного способа занимать меня. А оставь он меня, так и еще того хуже: ведь я пока еще никого не знал среди гостей. Поэтому я дал Орлову увести себя к закусочному столу.

Еще издали мы видели, как у стола хорошенькая, вертлявая дама с пикантной родинкой около рта (как я потом узнал, это была княгиня Варвара Голицына, одна из бесстыднейших мессалин петербургского двора) кокетничала с галантным старцем Галуппи. Маэстро что-то с жаром говорил ей, потом налил себе большой стакан вина, единым духом опорожнил его, предварительно шепнув княгине что-то такое, от чего она залилась звонким, чувственным смешком; затем они оба ушли под руку в сад, и все обратили внимание, с каким бесстыдством Голицына прижималась к старику.

– Ведь вот человек! – добродушно рассмеялся Алексей, посмотрев вслед оригинальной парочке. – Ему уже за шестьдесят, а ведь он во всех смыслах моложе молодого. Иногда ночь напролет с нами пропьянствует, а на другое утро, как ни в чем не бывало, уже за пультом и палочкой помахивает. А бабы его любят – просто страсть! Возьмите хоть Варьку – ведь она чего-чего не перевидала, каких только Адонисов своей благосклонностью не одаривала, ей-то уж есть, кажется, из чего выбирать, а вот, подите, липнет к старцу, прохода ему не дает! Молодец старик! И за что я его особенно люблю, так это за скромность. Знаете ли, царская милость имеет свои дурные стороны. Вот мы с братом Григорием уж, кажется, превознесены государыней превыше облаков. Да ведь зато она и держит нас на помочах. Узнай она, что я

Тарквинию здесь открыто хозяйшкой называю, так не оберешься потом нотаций! Пожалуй, царица даже способна Тарквинию за это из России выслать. А почему? Что я – государыне? Ну, еще брат Григорий, я понимаю... А я? Да вот поди ж ты! А ведь Галуппи, можно сказать, – свой человек у царицы, бывает запросто на всех домашних эрмитажных вечерах, и бояться ему нечего, потому что государыня им очень дорожит. И хоть знает он, что стоит ему шепнуть государыне словечко про меня или про Григория, так царица ему хороший подарок сделает, – а ведь ни слова никогда не вымолвит. Вообще славный старик и хороший товарищ! Ну, да у нас вообще составилась кружок...

Сзади нас послышались твердые, отчетливые шаги.

Алексей обернулся и сказал:

– А, это ты, Гриша! Закусить идешь? Что ты хмурый какой? Проиграл, что ли?

– Да нет, – недовольно ответил Григорий, – не проиграл и не выиграл. То-то и обидно – никаких ощущений! Одну ставку проиграешь, другую выиграешь. Надоело!

Мы подходили как раз к столу. Алексей познакомил меня с братом.

– Очень рад! – сказал Григорий, надменно кивая мне головой. – Я слышал о вас много любопытного и интересного.

Мы уселись на уголке. Григорий ел стоя.

– Ну-с, – спросил меня Алексей, – удачно было ваше вчерашнее посещение посольства?

– Благодарю вас, граф, да, – ответил я. – Правда, посла я не застал, но меня принял первый атташе, маркиз де Суврэ.

– Рославлев, одну минутку! – крикнул Григорий, заведя довольно пожилого офицера в мундире премьер-майора Измайловского полка.

Орлов поставил тарелку на стол и хотел подойти к майору, но имя маркиза де Суврэ, которое я назвал, заставило его остановиться.

– Маркиз де Суврэ, – продолжал я, – встретил меня очень любезно и был даже моим чичероне по Петербургу.

– Маркиз – вообще очень милый человек, – заметил Алексей Орлов.

– Маркиз де Суврэ, – сказал Григорий, с холодной злобой отчеканивая каждое слово, – плохой дипломат и двусмысленный интриган, и в самом непродолжительном времени я сделаю соответствующее представление о нем версальскому двору!

– Ну, это он так! – сказал мне Алексей, подмигивая в сторону брата, подошедшего к Рославлеву. – Любовишка тут замешалась! Да и не любвишка, а просто каприз, если хотите! И из-за кого? Из-за девчонки, которая, по-моему, выведенного яйца не стоит. Надо вам сказать, что недавно у нас при дворе появилась таинственная особа. Кто она, как ее зовут на самом деле, – этого не знает никто, кроме императрицы, которая ревниво бережет эту тайну. Несколько месяцев тому назад к царице привезли из-за границы очень молоденькую девушку, лет шестнадцати-семнадцати. В тот же день приезжую крестили по православному обряду, а на другой день царица представила нам ее под именем Екатерины Алексеевны Королевой. Ну, имя и отчество нам ничего не сказали, а вот фамилия заставила призадуматься. Когда-то наша царица питала большую симпатию к Станиславу Понятовскому, теперешнему польскому королю. Уж не оттого ли девочка и Королевой прозвана? Ведь по всему похоже, что у этой девицы есть что-то родственное с Понятовским. Ну, да не все ли равно? Чья бы она ни была – нам-то не все ли едино? Посмотрели мы на барышню – ничего себе, так – ни рыба ни мясо, тоненькая, бледненькая, хрупкая, говорит нежным, слабым голосом, смущается, от всякого пустяка краснеет. Брат Григорий и не заметил бы ее, может быть, да девчонка с первого взгляда почувствовала какой-то глупый страх перед ним. Григория это задело, вот он и стал за девчонкой бегать. Да ведь не разбегаешься, когда каждую минуту двойная беда грозит: царица, во-первых, девчонке сильно покровительствует, а, во-вторых, брату больших вольностей насчет женского пола никак позволить не может. Ну а тут подвернулся маркиз де Суврэ. У молодых

людей с первого взгляда завязался роман, к которому царица относится очень благосклонно. Она еще недавно сказала в кругу близких друзей: «Я свою Катеньку гораздо охотнее отдам иностранцу, чем русскому; наши, русские, слишком грубы и неотесаны и не смогут оценить такое прелестное создание». Вот Григорий рвет и мечет. Ведь не может он ее любить, а самолюбие заело: почему Суврэ успел там, где он, непобедимый Григорий, потерпел афронт! Уж я ему не раз говорил: «Отступись, Григорий, не быть добру!» Так вот нет же! Ох, доиграется он!.. Тогда и нам несдобровать... Только, Бога ради, дорогой меcье, – спохватился Алексей, сообразивший, что он ни с того ни с сего разоткровенничался перед незнакомым ему человеком, – все это – большой секрет, который отнюдь не должен выходить за порог этого дома! Я рассчитываю на вашу порядочность...

– Помилуйте, граф, – ответил я, обиженно пожав плечами, – может ли быть и речь...

– Ну да, ну да, – подхватил Орлов, – я понимаю, что вы не из того теста сделаны, из которого пекут шпионов и предателей. Недаром же я с первого взгляда почувствовал к вам такую симпатию и доверие, что забыл, как мало мы знакомы, и говорил с вами по душе, словно мы уже три пуда соли вместе съели... Однако брат возвращается, будем говорить о другом. Скажите, в какой именно пьесе явится перед нами впервые обольстительная Аделаида Гюс? Я слышал, что в «Заире», о которой вы рассказывали мне вчера с таким поэтическим пафосом.

Григорий Орлов во время этих слов молчаливо уселся за стол и стал бокал за бокалом пить крепкое старое токайское. Должно быть, Рославлев сообщил ему что-нибудь неприятное, потому что после разговора с ним Орлов вернулся к столу туча-тучей. Он был бледнее, чем прежде, жилы на висках у него сильно напряглись, и по манере пить вино сразу было видно, что он заливал им что-то тяжелое и неприятное.

На вопрос Алексея я подтвердил, что первый дебют Адели предположен именно в вольтеровской пьесе «Заира».

– Значит, мы скоро увидим ее? – продолжал Алексей.

– Скоро, скоро! – ответил за меня Григорий. – Денька через два сюда пожалует этот ангальт-кетен-плеский остолоп, в честь женишка будут давать разные представления, тогда и состоится первый выход Гюс... Кстати, знаешь ли ты, что мне сейчас Рославлев сказал? Оказывается, Николашка случайно видел остолопа в прошлом году, когда ездил с депутацией в Берлин. Хитрая механика подведена! Ведь принц Фридрих по непонятной игре природы – вылитый Станислав Понятовский в юности! Ну, да...

Алексей повел глазами в мою сторону, и Григорий осекся и заговорил сейчас же по-русски. Я слышал имена Панина, Дашковой и Воронцовой, и этого мне было достаточно, чтобы понять, о чем шла речь. Ведь из вчерашнего разговора с Суврэ я уже знал, что Панин повел подкоп против Орловых с новой стороны и что по его настоянию императрица Екатерина выразила согласие принять Фридриха Эрсмана, принца крошечного княжества Ангальт-Кетен-Плес, которого ей прочил в женихи Фридрих Великий. Знал я также, что в виде ответного шага Орловы уговорили царицу простить Елизавету Воронцову и вернуть ее ко двору – это должно было уронить шансы княгини Дашковой, а следовательно, и Панина.

Но братья обменялись по-русски лишь парой фраз и затем опять перешли на французский.

– Так, значит, в «Заире»? – сказал Алексей, как бы продолжая прерванный разговор. – Ну, что же, посмотрим, посмотрим!

– А она действительно такая хорошая актриса, как о ней кричали? – резко спросил Григорий, который не переставая пил стакан за стаканом.

– Я считаю Аделаиду Гюс самой талантливой артисткой парижской сцены, – ответил я. – Конечно, она еще молода и неопытна...

– Ну, это на сцене она, может быть, и неопытна, – с неприятным смехом перебил меня фаворит императрицы, – а вот в жизни, по слухам, девица Гюс – тонкая штучка! Говорили,

что она чуть-чуть было не обошла вашего расслабленного старичка-короля, да старая карга Помпадур вовремя вмешалась!

– Граф, – сухо остановил я его, – вы, должно быть, забыли, что говорите о моем государе и о девушке, которая мне близка, как сестра!

– Я говорю о том, о чем хочу, – небрежно кинул надменный фаворит. – Уж не вы ли будете учить меня, о чем можно говорить и о чем нельзя?

– О, нет, – спокойно ответил я, – я не берусь обучать правилам благопристойности дурно воспитанных людей!

Орлов побледнел, жилы на висках надулись у него еще больше. Его глаза с такой угрозой, с такой холодной яростью уставились на меня, что я тут же дал себе слово (и сдержал его) никогда больше не выходить в России из дома без пары заряженных пистолетов.

Но Алексей успел подскочить к нему и что-то шепнуть на ухо. Григорий стиснул под столом пальцы рук так, что кости громко затрещали.

– Однако! – сказал он, принужденно улыбаясь. – Недаром вас прозвали с первого дня рыцарем без страха и упрека! Не много найдется людей, которые решатся говорить так с Григорием Орловым, как это сделали вы! Но я сознаю, что был не прав. Вот моя рука! Докажите, что вы не сердитесь, и пожмите ее!

Я пожал протянутую мне руку, но ни со стороны графа, ни с моей особой сердечности в этом рукопожатии не сказалось.

– Однако ведь я вам еще не показал своего парка, – сказал Алексей. – Если хотите – пройдемтесь!

Григорий хрипло расхохотался.

– Да брось ты, Алеша! – сказал он. – От меня ты его уводишь, что ли? Не съем я твоего гостя, не бойся! Вообще я скоро уйду, уж ты извини, ужинать я не останусь, не по себе мне что-то. Ну, давайте чокнемся с вами, господин рыцарь без страха и упрека.

Мы чокнулись.

В этот момент к столу, весело щебеча что-то, подошла Адель, окруженная целым роем мужчин, которые принялись наперерыв предлагать ей вина и закусок. Григорий Орлов посмотрел на нее, и даже стакан с вином заплескал у него в руках.

Действительно у Адели был, что называется, ее счастливый день. Она была удивительно авантажна, и все, что было в ней привлекательного, еще рельефнее выступило наружу, а все некрасивое, угловатое куда-то спряталось, затушеввалось.

Заметив впечатление, произведенное Аделью на Григория, Алексей Орлов сейчас же сказал:

– Простите, божественная, вы, кажется, еще незнакомы с моим братом?

Он, вероятно, ждал, что Адель сейчас же сама подойдет к всесильному фавориту или так или иначе выкажет радостную готовность заинтересовать собой влиятельного человека. Но Адель удовольствовалась тем, что через плечо кинула:

– Нет еще, не удостоилась этой чести!

Сказав это, она продолжала говорить с окружавшими ее кавалерами.

Григорий Орлов усмехнулся, встал, подошел к Адели, бесцеремонно взял ее руку, поцеловал, затем осмотрел с ног до головы с оскорбительной внимательностью и сказал:

– Знаете, барышня, вы мне нравитесь!

Адель церемонно присела и насмешливо ответила:

– Страшно польщена этой честью, граф, и скорблю, что наши чувства не взаимны; вы мне не нравитесь!

– Но почему же? – уже совсем глупо спросил оторопевший от неожиданного реприманда фаворит.

– А потому, что я не люблю и не привыкла, чтобы со мной говорили в таком тоне! – ответила Адель, после чего, еще раз церемонно присев перед графом, отвернулась от него и заговорила с одним из кавалеров.

Алексей Орлов громко захохотал.

– Что, брат Гриша, не повезло тебе! – шутливо сказал он.

– Не повезло! – ответил Григорий, пренебрежительно пожав плечами. – Что значит «не повезло»? Просто барышне почему-то захотелось представить себя исключением из всего женского пола. Ведь я не знаю ни одной женщины, которая не была бы довольна узнать, что она нравится!

– Это доказывает, что вы не знаете женщин, граф! – заметила Адель, повернувшись к фавориту. – Женщине всегда приятно видеть и сознавать, что она нравится, но, когда ей говорят об этом в таком тоне, в котором ясно звучит: «Для тебя большая честь, что даже я сам признаю твое обаяние»... Знаете, граф, надо быть очень нетребовательной и быть о себе очень плохого мнения, чтобы комплимент такого дурного тона мог понравиться!

Я не знаю, что именно ответил Григорий Орлов на слова Адели, так как в этот момент на веранду вбежала веселая Тарквиния и шаловливо утащила меня в парк.

– Да что вы там к месту приросли? – щебетала она. – Вас дамы ждут не дождутся, а вы забились в уголок, да и сидите. Знаете, даже досадно, что вы дали обет целомудрия...

– Но помилуйте, прелестная синьорина, – шутливо ответил я, – уверяю вас, что я никогда не давал такого вздорного обета! Да и к чему послужили бы мне всякие обеты, – с комическим вздохом добавил я, – когда приходится идти под руку по темному парку с таким прелестным созданием?

– Лстец! – засмеялась Тарквиния, дернув меня свободной рукой за ухо. – Ну, да вы потому так храбры теперь, что знаете – у меня не пообедаешь. Со мной вы в безопасности, потому вы это и говорите. А вот скажите-ка это любой другой даме, которая не так строго смотрит на привязанность к одному!

Перекидываясь шутками, мы вошли в одну из беседок, где сидело несколько дам. Тарквиния познакомила нас, и мы премило проболтали некоторое время. Затем, продолжив прогулку с несколькими дамами, мы зашли в другую беседку, в третью, и везде меня с кем-нибудь знакомили.

И мне бросилось в глаза одно странное обстоятельство: со мной говорили и обращались с каким-то заметным почтением, как-то совсем особенно, и во взглядах мужчин и дам я видел устремленный ко мне какой-то тревожный, любопытный вопрос. Словно я был не француз, а житель другой планеты, словно был создан из другого теста, чем все остальные. Таким образом я убедился, что басня, сплетенная Аделью, получила всеобщую известность.

Конечно, я не миновал знакомства с княгиней Варварой Голицыной. Она взяла меня под руку и утащила в самую глухую аллею, где завела со мной выспренный разговор на тему о необходимости торжества духа над грязными велениями плоти. Конечно, я понимал, что моя особа представляла для распушенной княгини такой редкий экземпляр, какого еще не было в ее коллекции, а потому, желая завлечь меня, она пыталась говорить со мной в таком тоне, какой, по ее мнению, должен был быть мне ближе всего. В душе я хохотал, сознавая, что прелестная княгиня только и жаждет подчиниться «грязным велениям плоти», и был очень доволен, что ее говорливость избавляет меня от необходимости отвечать ей.

Княгиня как раз развивала какую-то сложную и тонкую теорию о наилучших способах борьбы с мятежной плотью, когда по парку гулко и звонко поплыли певучие звуки гонга.

– Ужинать зовут! – сказала княгиня радостным тоном, в тот же момент забывая о «борьбе с мятежной плотью». – Ну-с, пойдемте! Помните, вы будете моим кавалером за столом! У Орлова заведен прелестный обычай: общего стола нет, а в зале расставлены столики разной

величины, и каждый усаживается, с кем хочет. Я оставляю вас на веранде и побегу занять столик на двоих. Смотрите же, ждите меня?

Я торжественно обещал княгине лучше пустить корни и вращаться в террасу, чем сойти оттуда без нее, после чего повел ее по аллее к сверкавшему (со стороны парка) огнями дому. На веранде Голицына выпустила мою руку и убежала в зал.

В двух шагах от меня стояла Адель, рассматривавшая дивную мраморную группу «Амур и Психея». Я хотел подойти к ней, но меня опередил Григорий Орлов, только что пожавший на прощанье руку брату и собиравшийся уходить. Он подошел к Адели и с силой сказал ей:

– А все-таки вы мне нравитесь, хотя вы и злы, как пантера! Но погодите, маленький зверек, я еще обломаю вам когти! Вы достаточно прелестны, и вами стоит заняться!

Сказав это, он повернулся и ушел. Адель с задумчивой мечтательностью посмотрела ему вслед, и я слышал, как она прошептала:

– Этого человека я, кажется, могла бы даже полюбить!

Глава 4

Несколько следующих дней мне почти не приходилось видеть Адель, так как готовились спектакли по случаю приезда принца Фридриха и в театре репетиция шла за репетицией. Но Адель не только не досадовала, а даже радовалась этому. Она понимала, что артистка, сумевшая сразу завоевать публику, будет и как женщина иметь несравненно больший успех. Кроме того, она все же любила свое дело. Поэтому она работала с самозабвением, иной раз забывая даже про еду.

Я же тем временем много гулял, знакомясь с Петербургом, в чем мне усиленно помогал милейший маркиз де Суврэ, с которым я быстро и прочно сошелся. Это был прелестный человек – веселый, остроумный, жизнерадостный, смелый и ловкий. К тому же он обладал большим повествовательным даром, и я хохотал до слез, когда он с необыкновенным юмором рассказывал мне некоторые эпизоды из первых шагов в Петербурге принца Фридриха Эрдмана.

Действительно принц Фридрих отличался такой же глупостью, как и красотой. К тому же он был совершенно необразован и интересовался лишь военным строем. Впрочем, он и не знал почти ничего другого, так как все его воспитание состояло в подготовке к военной службе, которую он проходил в армии Фридриха Великого, где дослужился до чина капитана.

Однако расчеты Панина основывались именно на красоте и глупости жениха. Он отлично понимал, что Екатерина II скорее сделает своим супругом представительного дурака, чем умного, энергичного, властного мужчину. Ведь брак нужен был ей лишь как уступка общественному мнению Европы. Но она сама знала, каким неудобством является для царствующего государя, когда принцем-супругом или императрицей-женой делается энергичная, деятельная, умная особа. Деятельный человек не помирится с второстепенной ролью и будет искать всей полноты власти, а энергия и ум позволят ему добиться такого переворота. Подобной натурой была и она сама, принцесса Ангальт-Цербстская, и результаты были налицо! Петра III не было и в помине, а на престоле воссела она, которой было предназначено лишь услаждать часы повелителя, но не повелевать самой. Так неужели же она, Екатерина, известная своей зоркостью и проницательностью, создаст без особой необходимости себе такую опасность?

Нет, Панин отлично понимал, что лишь глупый человек может иметь у Екатерины какой-нибудь шанс на успех. Да умного мужа Екатерине не желал и он сам. Ведь замужество государыни было для него лишь целью свалить ненавистных Орловых, которых неудобно будет оставить при дворе в первое время после брака. Ну стоит Екатерине не видеть своего Гришеньку хотя бы три месяца, как потом она уже не пустит его на глаза, а если и пустит, то во всяком случае не даст ему прежней воли. Ну, а если устранить Орловых, первая роль в государственных делах сама собой отойдет к нему, Панину. Поэтому-то хитрый граф Никита с такими надеждами и нетерпением ожидал прибытия принца.

Однако уже с самых первых шагов принца возникло опасение, что он окажется чересчур глупым, и эта глупость подчеркивалась еще более крайней робостью и плохим знанием французского языка. Иной раз принц и хотел бы ответить что-нибудь галантное, остроумное, и фразу-то составлял в уме очень эффектную, но не умел выразить ее и принужден бывал в таких случаях ограничиваться коротким «да» или «нет».

Даже первый момент его свидания с императрицей ознаменовался именно таким анекдотом. Прусский посланник, которому было поручено наставлять принца на всех путях его, основательно напел глуповатому принцу ряд отличных, галантных фраз, причем проэкзаменовал его «в разбивку», то есть убедился, что принц заучил эти фразы не механически, а сумеет ответить и в том случае, если вопросы императрицы будут ставиться не в том порядке, в каком предполагал их посланник. Только он не учел того обстоятельства, что это преподавание велось

на немецком языке, а главной трудностью для принца было складно ответить по-французски. Поэтому-то все вышло глупо до неприличия.

Выйдя навстречу принцу, Екатерина ласково приветствовала его, напомнила, что они находятся в родстве, и заметила, что она вообще дорожит родными и родством.

– Таким образом, – закончила она, сопровождая свои слова очаровательнейшей улыбкой, – я особенно рада приветствовать вас, мой кузен, как родственника!

У принца в голове вертелась отличнейшая фраза, но – увы! – по-немецки. Поэтому он сначала неприлично долго молчал, а потом с трудом пробормотал:

– О, да! Дорожить родными – хорошая черта!

Придворные, бывшие на приеме, рассказывали, что им стоило нечеловеческих трудов сохранить спокойствие и не прыснуть со смеху при этом ответе.

Екатерина закусила губу и спросила:

– Какое впечатление произвела на вас Россия?

– О, Россия – очень живописная страна, ваше величество! – ответил принц и необдуманно прибавил: – Только уж очень много блох...

Многими из придворных овладел неудержимый приступ кашля.

Императрица поспешила уверить принца, что в покоях, которые отведены ему во дворце, он будет избавлен от этой «мелкой неприятности». В ее тоне звучала столь явная насмешка, что принц, и без того опасавшийся, уж не сказал ли он чего не следует, смутился еще более.

– О, ваше величество! – с укором воскликнул он. – Ведь я не имел в виду дворца вашего величества!

Чем дальше в лес, тем больше дров. Императрица поспешила отказаться от такой опасной темы, как блохи.

– Вообще, – сказала она, – мы постараемся сделать вашу жизнь как можно более сносной и интересной. Мне удалось собрать очень хороший состав оперной, балетной и драматической трупп, и театром мы можем похвастаться. А вы любите театр, принц?

– Нет, ваше величество!

– Почему?

– Да, по правде сказать, я и сам не знаю почему, ваше величество!

Императрица поняла, что затягивать дальше официальную аудиенцию, значит, сознательно искать скандала; поэтому она сказала несколько любезно-незначительных фраз, выразила надежду, что принц полюбит театр, если увидит действительно выдающихся артистов, и представила ему графа Григория Орлова, назначенного ею состоять при особе его высочества. Этим аудиенция была окончена, и Орлов увел принца в отведенные ему покои.

Но там принца уже ожидала группа известных зубоскалов, состоявшая из клеветников Орлова. Последний попросил разрешения представить их принцу, и, когда разрешение было дано, началась довольно непристойная травля.

Для затравки граф Валентин Мусин-Пушкин, умница и очень образованный человек, добровольно игравший роль шута при дворе, заявил, что в России очень высоко ставят и почитают гений державного дядюшки принца, короля Фридриха II, и это видно из того, как интересуются в Петербурге всеми делами внутреннего управления Пруссии. Поэтому-то он и пользуется случаем узнать, верен ли слух, будто Фридрих поручил известному законоведу Марку Цицерону (Марк Туллий Цицерон – знаменитый юрист и оратор, живший в I веке до Рождества Христова.) преобразовать юридическую часть королевства.

Принц развалился в кресле, закинул ногу за ногу, принял чрезвычайно важный и глубокомысленный вид и ответил небрежным тоном:

– Э... знаете ли, милый граф... Это решено далеко еще не окончательно! Его величество король недавно говорил мне, что он не уверен в благонадежности этого господина!

– Ну, да, – подхватил Мусин-Пушкин, – мы слышали об этом. Но ведь эти сомнения навеяны его величеству благодаря проискам тайного советника Сократа (Знаменитый греческий философ, живший в V веке до Рождества Христова.), личного врага Марка Цицерона! А ведь мне передавали вполне достоверно, что тайный советник Сократ впал в немилость, и его отставки ожидают с часу на час!

– Да, я перед отъездом слышал что-то об этом, – ответил принц, – но, знаете ли, его величество не так легко расстается с людьми, с которыми работал долгое время!

В том же духе принц отвечал и на другие вопросы, в которых фигурировали знаменитейшие герои древности с прибавлением современных чинов, титулов и званий. Необразованность, умственное убожество и дурное воспитание принца были подчеркнуты еще рельефнее и нагляднее.

И все-таки его шансы у самой императрицы были далеко не малы. Как достоверно стало известно маркизу де Суврэ, Екатерина, расставшись с принцем после первой аудиенции, сказала Нарышкиной – единственному человеку, с которым она в то время была вполне откровенна – следующее: «Боже, как он глуп... но зато как красив!» – с мечтательным вздохом прибавила она, и по тону голоса можно было понять, что последнее обстоятельство перевешивало в ее глазах первое.

Когда же ей донесли об издевательствах, учиненном клеветами Орлова над глупеньким принцем, Екатерина вспыхнула и сказала:

– Ах, так? Они хотят этим подействовать на мое решение. Ну так Орловы ошибаются! И если даже я не решусь сделать принца своим мужем, то... то он достаточно красив для того, чтобы Орлову не стало легче от этого!

С этого момента Екатерина окружила принца нежной заботливостью, стараясь незаметно направлять его речь и затушевывать все сказанные им глупости и неловкости. В атмосфере этого ласкового внимания Фридрих Эрдман смог побороть свою застенчивость, отвечал не так уж бесповоротно глупо, а иногда под счастливую руку подавал блестящие по своей дипломатической тонкости реплики, которые производили особенно сильное впечатление в его устах, так как в хитрости и лукавстве принца заподозрить не мог никто.

Так, однажды, после представления итальянской оперы, императрица спросила принца, не находит ли он, что артистки труппы все очень хорошенькие женщины, одна лучше другой. Принц добродушно ответил, что даже не заметил этого.

– Боже мой, принц! – с шутливым негодованием сказала императрица, – но вы, вероятно, страдаете слабым зрением?

– Государыня, – ответил принц, – когда светит солнце, самое лучшее зрение не поможет видеть звезды!

И, говоря это, он при слове «солнце» так изящно и многозначительно поклонился императрице, что Екатерина вспыхнула, словно молоденькая девочка, и положительно обласкала взглядом принца Фридриха.

– Конечно, – смеясь говорил мне по этому поводу Суврэ, – недаром же и в Писании сказано: «Блажен, иже и младенцев умудряет». Вообще я нахожу, что «нищие духом» награждены уж чересчур большими привилегиями. В будущей жизни им обещано Царство Небесное, а в настоящей – какой-нибудь принц Фридрих легко подбирается к земному царству. И это ему тем легче, что он действительно похож на Понятовского в молодости, ну, а вы знаете, что старая любовь никогда не ржавеет. Императрица не раз увлекалась, но лишь один Понятовский может похвастаться тем, что затронул и чувства, и душу Екатерины. Принц Фридрих пользуется успехом за чужой счет. Ну, да это было предусмотрено заранее! Недаром Орловы так всполошились! – Маркиз де Суврэ засмеялся и продолжал: – Да, Григорий Орлов делает мне всякие гадости, а между тем я мог бы уничтожить его одним словом! Я ведь нахожусь в курсе всех сложных интриг петербургского двора и знаю всю ту хитрую механику, которую подво-

дят Орловы под принца. Если бы я ставил личную неприязнь выше государственных дел, я разоблачил бы их козни; но Франции слишком невыгодно преобладающее влияние Пруссии на здешний двор. Поэтому я довольствуюсь ролью простого зрителя. Но потом, когда кандидатура принца Фридриха будет отстранена, я не откажусь от удовольствия посмотреть, что сделает и скажет императрица, когда фокусы Орловых будут разоблачены...

– А в чем же выражаются эти «фокусы», маркиз? – поинтересовался я.

– О, это какая-то странная смесь наглости и наивности! Впрочем, по Сеньке и шапка! Для такого дурачка, как принц Фридрих, все эти меры могут оказаться вполне действенными... Его дурачат на разные лады. По ночам к нему является тень его покойного отца, которая закликает принца отказаться от безумного намерения и скорее бежать из России, а днем с ним происходит ряд разных неприятностей. То у принца при поклоне лопнет необходимейшая часть туалета – разумеется, предварительно подпоротая, то у него по неизвестной причине слетит парик, то вместо вина у принца в стакане окажется уксус, а тут еще императрица непременно хочет чокнуться с ним и выпить за его успехи. А потом ночью опять является тень отца и начинает уверять, что все эти мелкие неприятности – лишь преддверие к настоящим бедам, которые ниспослет небо непокорному сыну. И действительно неприятности начинают приобретать все более и более опасный характер. Вчера, спускаясь по главной лестнице дворца, принц споткнулся о протянутую поперек лестницы веревку и только по счастью не разбился. Затем, когда он сел в карету, лошади по неизвестной причине взбесились и понесли. Только чудом удалось удержать их. Словом, принц начинает серьезно задумываться. Он плохо спит, почти лишился аппетита, вздрагивает от малейшего шума... Надо полагать, что господа Орловы все-таки добьются своего, и глуповатый принц убежит без оглядки обратно под крылышко Фридриха Второго. Ну что же, когда это случится, мы посчитаемся с господами Орловыми! – закончил маркиз, улыбка которого не обещала фавориту императрицы ничего хорошего.

Следуя желанию императрицы, Григорий Орлов назначил у себя в честь принца Фридриха вечер, по образцу знаменитых «эрмитажных». Так как мне пришлось впоследствии побывать и на самих «эрмитажных», то, чтобы потом не повторяться, опишу сейчас, в чем состояли эти вечера и какими правилами обуславливались доступ и пребывание на них.

Вступив на трон, императрица захотела отвести себе во дворце такой уголок, где она могла бы отдыхать в уединении, предаваясь любимым развлечениям и беседуя с интересными ей людьми, вне какого бы то ни было этикета. Для этих собраний были отведены определенные залы Зимнего дворца, и Екатерина прозвала их «Эрмитажем» (Французское слово «Эрмитаж» значит по-русски «скит», «пустынь»), намекая этим на уединенность от внешнего блеска и великолепия трона. Через два года после того времени, к которому относится мой рассказ, императрица поручила архитектору Валлен де Ламотту выстроить для собраний особое здание, которое и получило тогда название «Эрмижа». Но во время моего первого приезда в Россию этим именем называлось не какое-либо здание, а лишь частные вечера у императрицы; вечера же, устраиваемые по образцу их у приближенных Екатерины, именовались «эрмиажными».

На эрмиажные собрания Екатерина приглашала лишь тех, кто был ей приятен или интересовал ее умом или талантом. Чин, ранг, занимаемое общественное положение при этом совершенно не принимались во внимание. Так, например, ни наш, ни прусский посол ни разу не были приглашены на них, а атташе французского посольства, маркиз де Суврэ, был частым и желанным гостем. На этих вечерах приглашенным предоставлялась полная свобода с условием не мешать другим. Здесь императрица слушала чтение новых стихов или пьес русских поэтов, смотрела любительские представления, играла в карты. Если на вечере появлялся какой-нибудь новый интересный человек, Екатерина вступала с ним в оживленную беседу. Если приглашения удостоивался какой-нибудь артист, его просили спеть или прочесть что-нибудь.

Когда на собрании не присутствовали иностранцы, гости обязаны были разговаривать не иначе, как по-русски; это правило было введено мудрой императрицей потому, что в то время в высшем обществе существовала излишняя приверженность к французскому языку, которая могла лишь льстить нам, французам, но мешала развитию русской словесности; действительно, не редкость было встретить сановника, который говорил по-французски не хуже истинного парижанина, а по-русски изъяснялся с трудом.

Всякий этикет был совершенно отброшен, следование ему каралось штрафом. При проходе императрицы или при ее обращении к кому-либо гостям запрещалось вставать. Все это было оговорено в правилах, составленных самой Екатериной и вывешенных при входе в зал. Эти правила заключались в следующем:

- «1) Оставить все чины за дверью, равно как и шляпы, а наипаче шпаги.
- 2) Местничество и спесь или тому что-либо подобное, когда бы то ни случилось, оставить за дверью.
- 3) Быть веселым, однако же ничего не портить, не ломать и ничего не грызть.
- 4) Садиться, стоять, ходить, как заблагорассудится, несмотря ни на кого.
- 5) Говорить умеренно и негромко, дабы у прочих там находящихся уши и головы не заболели.
- 6) Спорить без сердца и без горячности.
- 7) Не вздыхать и не зевать и никому скуки или тягости не наносить.
- 8) Кушать сладко и вкусно.
- 9) Пить с умеренностью, дабы всякий мог найти свои ноги для выхода у дверей.
- 10) Сору из избы не выносить, а что войдет в одно ухо, то бы вышло в другое прежде, нежели выступить из дверей.

Если кто противу вышеписанного проступится, то, по доказательству двух свидетелей, за всякое преступление должен выпить стакан холодной воды, не исключая и дам, и прочесть страницу Тилемахиды („Тилемахида“ (вернее „Телемахида“, но автор в тексте этого подлинного объявления придерживался начертания и орфографии самой императрицы Екатерины II) – тяжелая, неуклюжая поэма Тредияковского, старательного, но бездарнейшего пиита времен императрицы Анны.). А кто противу трех статей в один вечер проступится, тот повинен выучить шесть строк Тилемахиды наизусть. А если кто против десятой статьи проступится, того более не впускать».

При входе в зал собраний висело кроме того другое объявление, тоже составленное самой императрицей. Оно гласило:

Извольте сесть, где хотите,
Не ожидая повторения:
Церемоний хозяйка здешняя ненавидит и в досаду принимает;
А всякий в своем доме волен.

На собраниях у самой Екатерины все эти правила соблюдались в точности, но у других им следовали лишь отчасти. Конечно, все, что касалось поведения гостей по отношению к императрице, соответствовало ее желанию, но стоило ей уйти (а императрица редко оставалась к ужину), как статья девятая: «Пить с умеренностью» – отбрасывалась в сторону, и очень многие не могли потом «найти свои ноги для выхода у дверей», так что их приходилось на руках сносить вниз и бесчувственным телом сажать в кареты. Не соблюдалась также и десятая ста-

тя: по желанию самой императрицы «сор из избы» тщательно выносился, так как при сильно развитой в то время системе взаимного шпионства Екатерине потом доносили, что сказал тот-то или тот-то под пьяную руку. Правда, к чести Екатерины надо сказать, что на основании этих доносов она никогда никого не преследовала: она просто проверяла этим способом искренность своих приближенных.

Но насколько часты бывали эрмитажные собрания у самой Екатерины, настолько же редко происходили они у ее приближенных. Ведь хозяину приходилось приглашать не тех лиц, которые были приятны ему самому, а тех, кого хотела видеть императрица. И получалась некая двойственность: с одной стороны – на вечере как бы царила милая непринужденная свобода, с другой – благодаря необходимости быть в качестве хозяина любезным с неприятными людьми – чувствовалась натянутость. Вот поэтому-то такие собрания устраивались приближенными императрицы лишь по необходимости.

В данном случае была полная необходимость: императрица напрямик выразила желание и сама указала характер вечера и приглашаемых гостей. Сначала должны были быть устроены танцы для желающих, а нетанцующие могли заняться картами или разговором. Затем следовал ужин за столиками в большом зале. Во время ужина должен был играть оркестр, а приглашенные в качестве гостей на равных с остальными правах артисты – увеселять общество своим искусством. А для того, чтобы артисты не чувствовали себя ниже остальных вследствие необходимости вставать из-за столика для исполнения своего номера, в программу были включены также и великосветские любители и любительницы. Между прочим сам Алексей Орлов должен был протанцевать русскую с княгиней Варварой Голицыной.

Среди приглашенных артистов были Тарквиния Колонна и Адель, очень понравившаяся императрице на своем первом дебюте, а чести получить приглашение в качестве простого гостя удостоился, между прочим, и ваш покорный слуга.

Сначала, когда пришло письменное приглашение Орлова пожаловать к нему «запросто», я твердо решил уклониться от этого посещения, так как и сам Григорий Орлов был мне не симпатичен, да и казалось слишком нелепым находиться рядом со столькими высокопоставленными особами. Но Тарквиния, заехавшая к Адели, рассказала нам, что мое приглашение состоялось по желанию самой императрицы, заинтересованной ходившими обо мне рассказами. А главное, узнав о моем нежелании ехать к Орлову, Адель категорически заявила: «Глупости! Ты поедешь!» – я же был обязан ее слушаться.

И так случилось, что я, ничтожный Жак Тибо Лебеф де Бьевр, недавний мелкий клерк у нотариуса, а ныне секретарь распутной артистки, попал в общество императрицы всероссийской и цвета русской знати. Этим я был обязан тому лживому ореолу, которым окружила мое имя хитрая Адель, и на первых порах чувствовал себя очень скверно, как настоящий самозванец. Но люди привыкают ко всему, и самая дерзкая лож от частого повторения приобретает отсвет правды. Вскоре я начал сам себе казаться чище и выше, чем был на самом деле.

Глава 5

Когда мы с Аделью приехали, у Орлова собрались уже почти все приглашенные. Не было только принца Фридриха Эрдмана и самой императрицы; но ее, как мне потом сказали, и не ждали так рано.

Сам хозяин, Григорий Орлов, буквально сиял восторгом и счастьем и прилагал все меры, чтобы оживить гостей. Однако разнородность состава давала себя знать, и как могла, например, веселиться и чувствовать себя хорошо маленькая хорошенькая Дашкова, если она знала, что охлаждением к ней императрицы она обязана тому самому Григорию Орлову, который теперь старался выказать ей всяческие знаки внимания; ему же она была обязана и тем, что на том же самом вечере ей предстояло встретиться с ненавистной сестрой, которая была прощена императрицей Екатериной и взята ею к себе в фрейлины. Конечно, все собравшиеся были достаточно хорошо воспитанными людьми, чтобы уметь скрывать свои истинные чувства, но внутренней теплоты не было, и потому не создавалось общей приятной атмосферы.

Орлов встретил нас почти при самом входе в зал, где замирали последние аккорды менуэта. Когда он увидел Адель, в его взгляде что-то блеснуло. Он подошел к нам, и мы несколько минут поговорили. Тут оркестр заиграл медленную, плавную, убаюкивающую мелодию вальса – нового танца, только что входившего в моду, и Орлов, склонившись к Адели, сказал ей:

– Тур вальса, сударыня?

Адель кивнула головой.

Тогда, обращаясь ко мне, Орлов сказал:

– Вы уж извините, месье де Бьевр, тут у нас без всяких фасонов. Каждый делает, что хочет, и развлекается, как умеет. Если хотите танцевать, смело приглашайте даму. Хотите перекинуться в картишки – в одной из гостиных раскинуты столы. Словом, вполне свободно располагайте собой.

Орлов и Адель закружились в плавном ритме красивого «круглого» танца, а я остался стоять на месте, любуясь ими. Что это была за прелестная парочка! Мощный дуб и прикинувшая к нему лозинка! Орел, уносящий в мощном размахе крыльев нежно прижавшуюся к его широкой груди голубку! Хищный тигр, в минуту безумья страстно слившийся в объятиях с красивой, лукавой змейкой!

Вдруг из созерцательной задумчивости меня вывело легкое прикосновение веера к плечу: передо мной была обольстительная княгиня Варвара Голицына.

– Задумчив, мечтает! – с ласковой насмешкой сказала она. – Полно вам! Пойдемте танцевать!

Я сделал в ответ строгое лицо и воскликнул (будто слово «танцевать» оскорбило меня в моих самых священных чувствах):

– Танцевать! Служить греху! Всенародно обнимать женщину и парадировать в сладострастных движениях величайший и отвратительнейший грех! И вы хотите, чтобы я участвовал в такой мерзости?

Лицо Голицыной приняло такой испуганный вид, что я невольно расхохотался.

– Ага! – смеясь продолжал я, – я испугал вас. Это – маленькая, невинная месть за те насмешки, которыми вы донимали меня в прошлый раз по поводу моего реноме Прекрасного Иосифа, неизвестно как создавшегося. Нет, дорогая княгиня, я очень люблю танцы, хотя сам и не танцую: в ранней юности я был слишком занят книгами, чтобы найти время для танцев и веселья.

– Ну, что же делать, – улыбаясь ответила княгиня, – значит, мне придется отказаться от этого удовольствия. Но мой испуг вполне понятен: в прошлый раз вы говорили многое такое, что уместнее слышать в устах старого монаха.

– Но и монах скажет вам, княгиня, что сам Давид плясал от радости перед Ковчегом Завета.

– Разве? – с задорной улыбкой сказала Голицына. – Представьте, а я и не знала этого! Правда, я очень слаба в Писании, но о Давиде я много кое-чего знаю, хотя и не столь душеспасительного... Ну, да раз вы не танцуете, тогда пойдемте в одну из гостиных и там на досуге поговорим хотя бы о Давиде и об... Иосифе Прекрасном! – прибавила она, весело блеснув умными, дерзкими глазами.

Я предложил ей руку, и мы пошли анфиладой комнат.

В одной из них стояли два ломберных стола, за которыми чинно и степенно играли в какую-то коммерческую игру сановные старички. Далее в полутемном уголке на диване за трельяжем сидела парочка, вздрогнувшая от шума наших шагов. Это были Панин и Дашкова.

– Господи! – шепнула мне Голицына, – вот чего никогда не могла понять! Ну, стоит ли тратить свои юные годы на политику! Когда мне будет лет шестьдесят и придется волей-неволей отказаться от служения моей великой патронессе Венере, тогда и я, быть может, займусь плетением хитрых дипломатических кружев. Но Дашкова молода, она – женщина в лучшем смысле этого слова! Воображаю, как протекают их любовные свидания! Между двумя поцелуями и объятьями они рассуждают о государственном курсе и о ходе иностранной политики! Уроды!

Мы вошли в довольно большую комнату, где за одним из столов шла крупная азартная игра. Алексей Орлов, шумно и весело председательствовавший здесь, послал мне и княгине воздушный поцелуй и преуморительно подмигнул глазом.

Мы прошли еще дальше, уселись на бержерке в уютной гостиной, где, кроме нас, никого не было, и завели милый, легкий разговор, на который Голицына была большой мастерицей.

Мимо нас то и дело проходили другие гости, однако как мы на них, так и они на нас никакого внимания не обращали: здесь было не в обычае мешать друг другу.

Но вдруг мое внимание привлек голос, раздавшийся из соседней комнаты. Слов я разобрать не мог, но сам голос покорял и нежил какими-то неведомыми чарами. Он слышался все ближе и наконец, в самых дверях, я услышал другой голос, по которому сразу узнал маркиза де Суврэ, спрашивавшего:

– Так вы думаете, что его величество...

– Я думаю, – послышался певучий ответ, – что его величество король Адольф Фридрих губит государство и себя, позволяя руководить собой женщине, у которой больше энергии, чем государственного ума. Уже история пятьдесят шестого года показала, что ее планы и начинания недостаточно продуманы. Нельзя бороться против всей народной массы, надо действовать исподволь, осторожно, надо выбирать момент для обуздания народа!

Я понял, что дело идет о шведском короле Адольфе Фридрихе (дяде покойного императора Петра III) и его жене, сестре прусского короля, страдавшей манией властолюбия и толкавшей слабовольного Адольфа на ряд поступков, которые должны были укрепить расшатанную королевскую власть, но на самом деле колебали ее еще больше. Так, в тысяча семьсот пятьдесят шестом году шведская королева устроила целый заговор с целью подавить разраставшееся народоправие, но дело кончилось массой казней и усилением конституционализма.

– Да, – продолжал все тот же певучий голос, – глупый персидский царь приказал высечь море, но оно все же не успокоилось, а умный моряк льет на взбушевавшиеся волны масло и спокойно плывет далее; в политике же «без масла» и вовсе шага не сделаешь!

Вслед за этим чисто макиавеллевским афоризмом в дверях показался высокий, плечистый, атлетически сложенный господин, одетый со странной смесью изящества и небрежности. Он был очень гибок и строен. Его красивое, приятное лицо портило при ближайшем рассмотрении отсутствие одного глаза. Судя по выговору, он должен был быть русским; только русские

так правильно и певуче говорят по-французски, отчетливо выговаривая каждую букву, порою пикантно неясно звучащую в устах природного француза.

Увидев меня с княгиней Варварой, неизвестный мне русский и Суврэ сейчас же направились в нашу сторону. Суврэ поцеловал руку Голицыной и дружески поздоровался со мной, а незнакомец укоризненно сказал Голицыной:

– Божественная! Да что же вы разговорами занимаетесь, когда столько преданных сердец напрасно ищет вас, ожидая счастливой возможности умчать ваш гибкий стан в грациозном порыве танца! Княгиня! Божественная красота и олимпийская обаятельность не могут и не должны быть в единоличном обладании! Вы – наше общее солнце, княгиня, и справедливость требует, чтобы, с избытком обогрев одного, вы пролили свой свет и тепло и на других жаждущих! Вы уж простите, сударь мой, – обратился он ко мне с обаятельной улыбкой и изящным поклоном, – но я принужден похитить вашу даму, без которой и танцы не в танцы!

Голицына комически пожала плечами и ушла с веселым смехом танцевать.

– Кто это? – спросил я маркиза де Суврэ.

– Это – камергер Потемкин, – ответил мне Суврэ. – Еще будучи вахмистром конной гвардии, он играл видную роль в перевороте шестьдесят второго года. Это большая умница и очень образованный человек. К тому же он очень красив, и императрица начала серьезно заглядываться на него. Тогда Орловы выхлопотали ему чин камер-юнкера и почетную миссию отправиться к шведскому двору для объявления о происшедшем перевороте – иными словами, опасного человека спланировали подальше с глаз долой. К коронации Потемкин вернулся в Россию, но тут Григорий Орлов устроил с ним гнусную штуку. Он пригласил его играть на бильярде и сумел попасть шаром в глаз – ведь Григорий играет на бильярде прямо-таки поразительно; он показывает занимательные фокусы, перебрасывая шар с бильярда на бильярд и укладывая шар в лузу соседнего бильярда. Следовательно, попасть в глаз партнеру ему ничего не стоило. Когда же Потемкин заохал и схватился за ушибленный глаз, Орлов крикнул своего врача, и тот присыпал ему глаз чем-то таким, от чего глаз начал заметно пропадать. Потемкин заперся у себя дома и стал тщательно лечиться, но глаз гноился и не поддавался излечению. Как раз в тот момент, когда рана была особенно отвратительна, Орловы ворвались к Потемкину и силой притащили его к императрице. Ее величество не переносит никакого физического уродства; она покачала головой, повысила Потемкина в камергеры и махнула на него рукой. Орловы восторжествовали, но, по-моему, ненадолго. Потемкин – большая сила! Вы слышали, как он говорил о необходимости лить масло на волны, чтобы двигаться вперед? В этом его огромное преимущество перед теперешним фаворитом. Орловы способны ломиться стеной, но для того, чтобы годами незаметно подбираться к намеченной цели, у них не хватит ни характера, ни ума. Теперь Потемкина затирают Орловы, с ним совершенно не считаются и не обращают на него никакого внимания. Но Потемкин потихоньку «льет масло» и понемножку пробирается вперед. И он будет у пристани, будет, поверьте мне! Ведь это – не какой-нибудь принц Фридрих, нет! – Вспомнив что-то при этом имени, Суврэ весело засмеялся и продолжал: – Вы заметили, как весел и доволен сегодня наш милый хозяин? Да? А знаете почему? Потому что в этот момент его козни увенчались успехом, и придурковатый Фридрих Эрдман мчится сломя голову в Пруссию!

– Не может быть! – с удивлением воскликнул я. – Но как же это возможно?

– О, это – такая комедия, что просто остается руками развести! Не знаешь, чему больше удивиться: наглости Орловых или глупости принца. Надо вам сказать, что счастливая полоса у принца прошла, и в последние два дня он наделал и наговорил столько глупостей, что императрица несколько раз принуждена была попросту обрывать его. Принц опечалился: он не мог понять, что значила эта перемена в обращении. Ну, а того, что такой дурак, как он, может надоесть до бешенства в самое короткое время, ему, разумеется, в голову не пришло. И вот клеветы Орлова дали Фридриху возможность «подслушать» важный, государственный разгово-

вор: императрица, дескать, и не думала никогда выходить за него замуж, а в Россию принца заманили только потому, что его, Фридриха Эрдмана, считают гениальным полководцем, способным дать армии прусского короля значительный перевес...

– И он мог поверить этому? – с трудом проговорил я, задыхаясь от смеха.

– Да, вы слушайте дальше! Из этого тайного разговора принц узнал потом, что его, Фридриха Эрдмана, будут держать пленником и что со дня на день надо ждать войны, которую Екатерина объявит Пруссии по настоянию Франции. Война – дело решенное, и завтра-послезавтра пришлют гонцов к границам с приказанием усилить надзор и не пропускать никаких депеш от иностранных послов, аккредитованных при российском дворе.

– И это заставило принца уехать?

– Нет, еще и не это. Сегодня утром к принцу зашел Григорий Орлов, который сказал, что был у императрицы для подписи важных бумаг и зашел к принцу для напоминания о сегодняшнем вечере. «Важные бумаги» были у Орлова в руках, и, когда фаворит ушел, на столе осталась одна бумажка, «случайно оброненная» графом. Принц взглянул на эту бумагу и чуть в обморок не упал! Ведь там было собственноручно подписанное Екатериной письмо к Людовiku Пятнадцатому, в котором ее величество обещалась не позже как через неделю двинуть к границе Пруссии большой корпус, «чтобы застать Фридриха Второго неподготовленным». Между прочим замечу, что это письмо было всецело рассчитано на плохое знание принцем французского языка, так как там встречаются выражения попросту неприличные...

– Но, значит, ее величество...

– Да нет же! Ведь письмо написано кем-нибудь из клеветников Орлова, и ручаюсь головой, что они даже не дали себе труда подделать мало-мальски похоже почерк ее величества. Слушайте дальше! Право, это очень забавно. Конечно, у принца Фридриха были «друзья» из числа лиц его свиты. Фридрих стал молить «друзей» помочь ему бежать, и после долгих колебаний они согласились, взяв с него самую священную клятву, что он никогда и ни при каких обстоятельствах не выдаст их имен. И вот за час до того, как принц должен был отправиться на вечер к Орлову, состоялось маскарадное бегство придурковатого жениха, и он теперь мчится к дядюшке. Воображаю, какой прием ожидает несчастного принца в Берлине! А он-то рассчитывает «раскрыть доверчивому королю глаза на предательскую политику русского двора»!..

– Но как же он не посоветовался с прусским послом?

– Барон фон Гольц сейчас на охоте. Кроме того, принца уверили, что прусский посол ненадежен...

– Но я не понимаю, милый маркиз, как же могло случиться, что императрица ничего не знает об этом, если даже вы имеете такие подробные сведения?

– Неужели вам не приходилось встречаться с подобного же рода случаем, когда о распутстве жены кричит весь свет и только один муж ничего не знает?

– Положим! Но, если у вас имеются ловкие шпионы, почему у прусского посла их нет?

– Хотел бы я видеть посла, у которого нет шпиона на жалованье!

– Но тогда почему же фон Гольц не так осведомлен, как вы, маркиз?

Суврэ засмеялся.

– Потому что Гольцу служит шпион, состоящий на жалованье у Орловых! – ответил он и продолжал, вставая: – Однако я так много говорил, что у меня пересохло горло! Не пойдем ли мы выпить глоток вина?

– С удовольствием, – ответил я.

Следующей комнатой был прелестный круглый зал, уголки которого манили к отдыху и интимной беседе.

– Однако! – сказал я. – Сколько здесь комнат! Идем-идем, а все конца нет!

– Да, – ответил мне Суврэ, – а Орлов находит, что живет, как захудалый, мелкопоместный дворянин, и его утешают лишь генерал-адъютантские покои, отведенные ему в Зимнем

дворце, где он и проводит большую часть времени. Императрица находит его жалобы справедливыми и собирается строить ему целый дворец из мрамора. В свободное время ее величество занимается тем, что собственноручно набрасывает эскизы нового здания! Вот сюда, – сказал он, увидав, что я направился к правой двери, – эта дверь ведет на лестницу!

Мы прошли в левую дверь. В довольно большой комнате находился стол, уставленный прохладительными напитками. Несколько человек безмятежно угощались там. Мое внимание привлек один из них, в задумчивой мечтательности созерцавший ряд бутылок, как бы не зная, которой отдать предпочтение.

Этот человек был удивительно некрасив. Крючковатый нос и выдающийся вперед подбородок придавали ему вид дьявола, и это сходство усиливалось маленькими, узенькими глазами, взгляд которых впивался в вас и сверлил, как буравчик. Несмотря на то, что его спина была гладка и пряма, он с первого взгляда казался горбатым. Криво посаженные ноги и цепкие, длинные, волосатые руки придавали ему сходство с обезьяной. Несмотря на такое уродство, в нем была какая-то странная привлекательность, чувствовалось, что перед тобой стоит недюжинный человек, таящий в себе большую нравственную силу.

– Кто это? – спросил я маркиза.

– Это – Одар. По рождению он – пьемонтец, по подданству – сардинец, по национальности – еврей, по религии – вернейший слуга сатаны, по профессии – негодяй, по положению – частный секретарь императрицы, а по всему – личность весьма крупная и замечательная. Умница, каких мало! У него хватает достаточно ума, чтобы не прикидываться святошей, и он сам первый с немалым цинизмом признается в полном отсутствии каких бы то ни было правил и руководящих принципов, кроме «выгодно» или «невыгодно»; императрица относится к нему с большим доверием, и это делает честь ее уму: ведь Одару было бы «невыгодно» изменить ей. Могу прибавить еще, что он в совершенстве владеет изящным французским стилем, и злые языки весьма правдоподобно уверяют, что переписка императрицы с Вольтером – дело его пера! Словно почувствовав, что мы говорим о нем, Одар повернулся, и его лицо исказила дьявольская гримаса, означавшая улыбку.

– Кого я вижу! – патетически воскликнул он, торжественно поднимая вверх обезьяньи руки. – Сам Адонис, одаренный умом Аполлона и хитростью Меркурия! Приветствую вас от души, высокоуважаемый маркиз! – Он впился в меня своими буравчиками и сказал, отвешивая мне церемонный поклон: – И вас тоже приветствую, сударь! Правда, мы незнакомы, но нужна ли эта пустая формальность, раз мы все равно знаем друг друга? Ведь, наверное, входя в этот мирный приют, осененный дарами Вакха, вы спросили у своего спутника, что это за чудовищная помесь дьявола с обезьяной рассматривает там бутылки, и маркиз тут же в двух словах охарактеризовал меня вам; ну, а вас я тоже знаю, потому что вы сделали настоящей злобой дня в Петербурге и должны были привлечь внимание такого старого нечестивца, как я. Значит, что же мешает нам чокнуться, как знакомым? Маркиз, – обратился он к Суврэ, – чувствуя жажду, я долго думал, с чего начать, и решил, что лучше всего сделать глоток этого старого рейнского. Немцы – скучный народ, но их вино имеет свойство располагать к продолжению. Утишая жажду, оно не утишает желания. Так выпьем же рейнского, господи!

Одар с обезьяньей ловкостью налил три бокала, и мы, чокнувшись, стали с наслаждением глотать янтарное, маслянистое, ароматное вино.

– Боже мой, но неужели это – Дашкова? – сказал Суврэ, глядя на входившую даму. – Как она плохо выглядит! Да она совсем желтая!

– Да, да, – усмехаясь ответил Одар, – у прелестной княгини разлилась желчь после ряда неудач, постигших ее. Ее dokonало возвращение ко двору Елизаветы Воронцовой, ее сестры, а также крушение взлелеянной надежды на...

Он не договорил, так как Дашкова подошла совсем близко.

– Маркиз, одно слово! – сказала она с грустной улыбкой, обращаясь к Суврэ.

Маркиз поставил допитый бокал на стол и подошел к Дашковой. Она взяла его под руку и увела из комнаты. Я с Одаром остался наедине в этом конце стола.

– Ну, что, разве я не прав? – сказал мне Одар, когда мы выпили с ним по второму бокалу рейнского. – Нет томящей жажды, но желание даров Вакха обострилось! Теперь мы выпьем с вами чего-нибудь другого! – Он придвинул два бокала поменьше и наполнил их из неуклюжей, пузатой, обросшей мхом бутылки чем-то красноватым и маслянисто-тягучим. – Вы не можете себе представить, – продолжал он, – как я действительно рад встрече с вами. Да вы напрасно кланяетесь с таким ироническим видом! Я лгу только тогда, когда мне это выгодно, а жизненный опыт показал мне, что ложь очень редко бывает выгодной. Самое лучшее сказать правду таким тоном, что тебе все равно не поверят. Но и это лишь в крайних случаях, а в виде общего правила правда – лучшая политика. Но к чему мне политика с вами? Нет, можете поверить, что вы глубоко меня заинтересовали. В вашем лице я натолкнулся на редкий экземпляр человека, который на самом деле имеет принципы. Большинство только притворяется, будто их имеет. Меньшинство – я в том числе – открыто признается в неимении такого неудобного багажа. Но человек с принципами, человек, идущий стезей добродетели, человек, убежденный, что это нужно не для каких-нибудь внешних целей, а для удовлетворения внутреннего «я»!.. Гм... Теоретически я признавал возможность такого типа, но практически не встречал! Вы – очень верующий человек?

– Да, я верю искренне, хотя молюсь редко...

– И конечно, верите в Царствие Небесное?

– Мне как-то не приходилось думать, а следовательно, и сомневаться в этом.

– Но все-таки вы верите в загробное воздаяние, верите, что за нравственную жизнь в будущем вас ждет награда?

– И об этом я никогда не думал.

– Да может ли быть, чтобы, отказываясь от чего-либо, совершая какое-нибудь доброе дело, вы не думали: «Сейчас это дает мне лишения, но в будущем меня вознаградят за это»?

– Уверяю вас, что в своих действиях я руководствуюсь только сознанием внутреннего долга, мысль о воздаянии мне никогда не приходила в голову!

– Да, да! – задумчиво сказал Одар, говоря как бы с самим собой. – И ведь по тону чувствуется, что этот человек говорит совершенно искренне! Чудеса! Неужели такое возможно? Или это только – новое подтверждение справедливости афоризма: «Исключение подтверждает правило»?.. Вы – удивительно интересный экземпляр для изучения, сударь! Мне будет очень интересно изложить вам свою теорию и посмотреть, как вы отнесетесь к ней, совершенно объективно, разумеется! Еще вчера, разговаривая с ее величеством... Ну, да мы поговорим еще об этом, а теперь выпьем!

Мы чокнулись. Я с удовольствием проглотил сладкий, душистый напиток, имевший все приятные свойства вина и ликера и пахнувший цветущим лесом. Напиток казался совсем слабеньким, но вдруг желудок сразу согрела приятная теплота, и зал закружился передо мной, а пол стал плавно уходить из-под ног. Я едва не упал и должен был ухватиться за край стола, причем чуть-чуть не стянул скатерть со всеми бутылками.

– Что вы мне налили? – сказал я, удивляясь, что при сильной степени опьянения мой язык все же двигается совершенно свободно, и голова только кружится, но не затуманена. – Ведь я опьянел! Вы нарочно подпоили меня! Я не могу отойти от стола!

– Да неужели вы еще не пивали старого боярского меда? – сказал Одар, взяв меня под руку с таким видом, словно собирался сказать мне что-то по секрету, и скрывая таким образом мое состояние от нескромных глаз. – Не бойтесь, беда невелика! Мед действует только на ноги, оставляя голову в состоянии блаженного прекраснотушия и добродушного дерзновения! Это – чудный напиток! Пойдемте потихоньку в соседнюю круглую гостиную. Мы там поговорим, и вы отдохнете: этот хмель очень быстро теряет свои расслабляющие свойства и наоборот –

придает энергию и возбуждает деятельность мозга! Опирайтесь на меня, не бойтесь, мы дойдем совершенно незаметно!

Одар принялся что-то весело рассказывать мне, словно в приливе дружеских чувств обнимая за талию. Он делал это так ловко, что я дошел до круглого зала, не обращая на себя внимания.

Там мы уселись на «dos-a-dos» (Мебель, состоящая из двух или трех кресел, неразрывно соединенных между собой, причем их спинки повернуты в противоположные стороны.). Одар был прав: хмель от меда проходил очень быстро, уступая место какой-то радостной ясности и бодрости. Потом мне говорили, что этот мед пили древние славяне, отправляясь в бой. Если это так, я удивляюсь, почему они не покорили весь свет: я по крайней мере чувствовал себя так, что, что бы ни случилось со мной, я ни перед чем не отступил бы и ничего не испугался бы.

– Да, да, дорогой мой, – говорил мне тем временем Одар. – Должно быть, ваша французская пословица: «Крайности сходятся» – права, потому что я чувствую к вам необыкновенную симпатию. Мое жизненное правило совершенно обратное вашему. Для меня существует только одна мера – это «выгодно». «Выгодно» – значит «хорошо». Все, что невыгодно, – плохо, потому что глупо и бесцельно. И вот мне хотелось бы знать, какую роль отводит выгоде ваш нравственный кодекс.

Я не успел ответить, так как в это время по залу поспешно прошел Григорий Орлов, и в тот же момент у дверей показалась дама, в которой я сразу узнал императрицу Екатерину.

Ее нельзя было назвать красавицей, и ее фигура, прежде такая стройная и пластичная, теперь уже страдала от некоторого избытка полноты. Но во всем – и в фигуре, и в располагающем, ласковом лице, и в мягких, грациозных движениях – было столько царственного, столько обаятельного, а взгляд ее голубых глаз так чаровал умом и богатой внутренней жизнью, что перед ней невольно хотелось встать на колена.

– Императрица! – сказал Одар, и в том своеобразном шуме, который полетел по залу и напоминал утренний ветерок, на мгновение пригибающий лозы, чувствовалось повторение этого же слова. Однако никто не встал, и, когда я хотел приподняться, Одар шепнул мне: – Сидите! Вставать не только не нужно, но даже запрещено!

Тем временем императрица говорила вполголоса с Григорием Орловым. Так как мы с Одаром сидели близко от дверей, то до нас доносилось каждое слово.

– Ну, что у тебя делается, Григорий, – спросила императрица, – танцуют? Ну, пусть их себе! А принц что?

– Его высочество не прибыл, – ответил Орлов.

– Как? – удивленно спросила Екатерина. – Но куда же он делся? Я посылала справляться, и мне сказали, что принц Фридрих отбыл часов в восемь или девять...

– Да, его высочество отбыл, но не ко мне на вечер, а... в Пруссию!

– Что? Да ты бредишь, Григорий?

– Обеспокоенный тем, что его высочество не прибыл к назначенному часу, я послал справиться во дворец, и там мне сказали, что принц Фридрих еще раньше уложился и отослал куда-то свой чемодан. Выехав в придворном экипаже из дворца, принц доехал лишь до угла Невской перспективы и Морской, где его высочество изволил пересест в ожидавшую его тройку, и та помчалась с бешеной быстротой. Наведенные мною справки выяснили, что принц Фридрих уже давно намеревался удрать в Пруссию и подготавливал свое бегство. Теперь он уже далеко.

– Да не может быть! – радостно вскрикнула Екатерина. – *Cott sei Dank!* (Слава Богу!), – от полноты чувств императрица сказала эту фразу по-немецки. – По правде сказать, в последнее время этот чудака стал мне просто невыносим... А жаль, – задумчиво прибавила она, – он так красив!.. Но что же могло его заставить бежать?

Орлов наклонился к самому уху императрицы и что-то шепнул ей. Екатерина рассмеялась и шутливо ударила фаворита по руке.

– Ну, ты преувеличиваешь, – сказала она смеясь, – хотя... как знать! От его убожества всего можно ждать! Однако пойдем, посмотрим, что у тебя делается!

Императрица медленно пошла по залу, приветливо раскланиваясь направо и налево. Проходя мимо того места, где я сидел, она замедлила шаг и пытливо посмотрела на меня. Подчиняясь неведомому внутреннему приказу, я встал и почтительно поклонился ей.

Екатерина еще внимательнее посмотрела на меня, и в ее глазах мелькнула ласковая насмешка. Она обернулась к Орлову, спросила его о чем-то, и, когда он утвердительно кивнул головой, императрица сказала, обращаясь ко мне:

– Сударь, вы преступили своим вставаньем пункты первый, второй и четвертый правил, раз навсегда для наших бесчиновных собраний установленных. А если вам эти правила неведомы, то скажу вам, что этими правилами мы все возвращаемся к своему человеческому естеству и что на дружеских собраниях мы хотим быть просто людьми, а не графами, министрами или государями. Поэтому никаких особенных знаков почтения у нас оказывать не принято. Вы этот наш обычай своим вставаньем презрели, а потому подлежите каре, специально для подобных случаев установленной. Но так как приговор не может быть произнесен, прежде чем преступник скажет свое оправдательное слово, то предлагаю вам, сударь, дать защитительные объяснения. Предупреждаю, однако, что ссылкой на незнание законов никто оправдываться не может!

Пока государыня говорила, из соседних комнат в круглый зал стали собираться гости, окружившие императрицу густой толпой и с веселым любопытством ожидавшие моего ответа. Я весело оглядел всю собравшуюся толпу. Хмель прошел, но бодрящее чувство безудержной отваги и сознание полной свободы всецело владели мною.

– Madame (По-французски слово «мадам» значит и «сударыня», и «государыня»), – начал я, счастливо избегая титула и в то же время обращаясь к императрице вполне согласно с этикетом, – не мне, воспитанному на законах, оправдываться незнанием их. Нет, именно на знании их истинного духа могу я построить свою защиту! И прямой, непреложный дух всяких законов говорит, что законы могут насильственно налагать обязанности, но не насильственно освобождать от них. По закону никто не обязан поступаться своими справедливыми правами, но нет закона, который стал бы карать за добровольное поступление ими. Точно так же закон может освобождать от обязанности, но не может быть закона, карающего за то, что человек не захотел воспользоваться предоставленной ему льготой...

Императрица, прежде улыбавшаяся, при последних словах недовольно нахмурилась, гордо вскинула голову и сказала, обдавая меня нестерпимым холодом:

– Однако, сударь! А что же, по-вашему, – воля самодержавно царствующего государя? Разве такая воля не сильнее писаного закона? Разве она – не высший закон? Так бросьте же софизмы, сударь! Закон, слагающий обязанности, не может быть принудительным, это ясно. Но прямая монаршья воля, приказывающая для данного момента отказаться от той или иной обязанности, является принудительным законом; это еще яснее! Или вы из тех, которые не ставят монаршьею воли на должную высоту?

– Всякая защита только тогда имеет смысл, мадам, – не смущаясь ответил я, – когда она вполне свободна и когда прерыванием не извращается ее основная мысль. Благоволите же дослушать меня до конца или прямо наложите кару на бедного преступника!

– Говорите, я слушаю вас! – надменно ответила Екатерина.

– Прежде всего, – вновь начал я, – коснусь обвинения в злоупотреблении софизмами. Раз я говорил о прямом и непреложном духе законов, то мысль, из этого вытекающая, уже не может быть софизмом. А софизмы начинаются лишь в том случае, если во всей полноте принять сделанное мне опровержение. Государыня приказывает не оказывать ей знаков почтения, так как на этих собраниях она не хочет быть государыней. Но признание государя таковым прежде всего выражается в послушании его воле. Следовательно, не оказывающий знаков

почтения выражает повиновение государыне и тем показывает ей, что он ее и здесь за государыню почитает, то есть не исполняет ее воли. А оказывающий знаки почтения показывает, что он вошедшей за государыню не почитает, так как иначе он исполнил бы ее приказание. Значит, исполняющий приказание одного не исполняет, а не исполняющий – исполняет. Мало того! Государыня говорит, что на этих собраниях она является не государыней. Значит, я кланялся не государыне, а кому-то другому. А кому-то другому никаких почестей по этикету не полагается. Между тем правила, для сих собраний установленные, говорят о том, что не следует оказывать подобающие почести, а о не оказывании неподобающих ровно ничего не говорится!

– Браво! – крикнула мне императрица, весело засмеявшись; сердитая складка на лбу у нее совершенно разгладилась.

– Но и без всякого софизма скажу: да, я кланялся не государыне, а кому-то другому, – продолжал я. – И от поклонов и вставаний перед этим «кем-то другим» меня не может избавить никакая монаршая воля, никакой государев закон. Ведь существует наивысший закон – это закон природы и Бога. И только тогда исполним государев закон, когда он не идет вразрез с требованиями естества. Пусть государь прикажет считать черное белым! Подданные могут лишь называть цвета неправильно, но видеть их неправильно государь их не заставит. Пусть государь заставит людей перестать чувствовать любовь, пусть государь прикажет ветрам не дуть, а рекам – потечь вспять! Тщетным будет тут государева воля. И тщетной будет она тогда, когда приказано будет не чувствовать почтения к достойному его. Я же – такой человек, который не разделяет чувства и действия. Поэтому, увидев человека, соединяющего в себе все внутренние и внешние дары, сочетающего телесную красоту с обаянием светлого ума, я не мог не встать и не поклониться ему, но не как венценосцу, а лишь как человеку, поклонения наравне со святыней достойному! Вот в чем мое оправдание, и по чистой совести говорю: невиновен я! Но если мой строгий судья с моею невинностью не согласится, то при определении степени наказания да будет принято во внимание следующее: степень наказания должна различаться для преступлений преднамеренных и непреднамеренных. Я обвиняюсь в том, что преступил волю повелительницы здешних мест. Но не нарочно сделал я это! Когда я так неожиданно близко увидел возле себя светлый лик великой Семирамиды севера, я забыл о том, что передо мной венценосная особа, и, повинувшись благоговейному толчку, встал и поклонился ей как человеку. Суди же меня, судья строгий и справедливый! – с пафосом воскликнул я. – Но раз уж все равно мне быть наказанным, то «семь бед – один ответ!» – и, подчиняясь обуявшему меня хмельному дерзновению, я красивым движением упал перед императрицей на одно колено.

Государыня добродушно махнула на меня рукой и залилась добрым, заразительным смехом, а свидетели этой сцены разразились бурными рукоплесканиями.

– Встаньте! – сказала мне Екатерина, движением руки восстановив тишину в зале. – Ох, уж эти мне французы! Я уже слышала, сударь, что вы умны и образованы, и теперь вижу, что молва не преувеличена. Но нехорошо, если умственные способности направляются на одну только лесть! Что же мне с ним делать? – обратилась она с улыбкой к окружающим. – Могу ли я теперь осудить его, когда он мне таких комплиментов наговорил? Сударь, ваш судья признал вас на этот раз оправданным. Но если вы не хотите слушаться государевых велений, то всякая женщина имеет право требовать от мужчины-рыцаря уважения к ее воле, и, как женщина, я прошу вас в будущем точно следовать установленным для наших дружеских собраний правилам.

Она милостиво кивнула мне и медленно пошла дальше. За ней устремилась большая часть свидетелей неожиданного судебного разбирательства.

Я уселся на прежнее место. Вдруг передо мной выросла нескладная фигура Одара, который прижал мне плечи обеими руками и пытливо впился в мои глаза своими буравчиками.

– Прекрасная защитительная речь, – забормотал он, – убей меня Бог, прекрасная! Какое движение, жест, интонация, переливы голоса – все рассчитано на глубокое впечатление... Пре-

красная речь! Но меня она ввела в сомнения... Полно, да то ли вы, чем представляетесь? Уж не одного ли вы со мной поля ягода, только еще более рафинированная? Ха-ха-ха! Неужели же мое правило без исключений? Так-так, друг мой! Говоря о том, что вы не руководствуетесь выгодой, уж не имели ли вы в виду, что, охотясь за большой выгодой, вы пренебрегаете мелкими? А? Хотя нет, непохоже! Надо быть самим дьяволом, чтобы суметь играть комедию передо мной... Так неужели это мед так подхлестнул ваш мозг?

– Скорее мед, чем что-либо другое, – ответил я смеясь. – Да какая мне может быть выгода от внимания императрицы? Все равно, что бы ни случилось, я не оставлю Гюс, пока она сама не оттолкнет меня... Нет, это мед привел меня в такое настроение, что мне захотелось подурчиться!

– Ну, так, значит, я вовремя налил вам стаканчик! – весело воскликнул Одар, хлопая меня по плечу. – Пойдем, выпьем по другому, что ли?

– Ну, уж нет! – рассмеялся я. – После второго стакана я, пожалуй, окажусь способным предложить ее величеству отказаться от трона и стать госпожой де Бьевр! Русский мед – опасная вещь для увлекающегося француза!

– Но не для пьемонтца! – ответил Одар, направляясь к соседней комнате.

Глава 6

Посидев немного, я отправился побродить по залам. В ближайшей комнате я встретился с Паниным. Он сейчас же подошел ко мне, назвав себя, и начал говорить мне комплименты.

– Да, да, – сказал он мне между прочим, – ваша речь была восхитительна именно умелым сочетанием тонкой лести и горькой правды. Так избалованным детям дают невкусное лекарство! Как вы это сказали?.. «Существует... существует»... Да!.. «Существует наивысший закон, это – закон природы и Бога. И только тогда исполним государев закон, когда он не идет против него». Да, это – квинтэссенция конституционализма! Лишь Бог один вездесущ и всеведущ, и государь мыслящий, править единолично, посягает на эти свойства Божий...

– Но помилуйте, дорогой граф, – перебил я его, – вы придаете моим словам то значение, которого они вовсе не имели! Это была просто шутливая пародия на обычные извороты наших адвокатов...

– Ну, ну, – остановил меня Панин, улыбнувшись с тонким видом знатока, – я наперед знаю все, что вы сейчас скажете... Вы, дескать, никогда не осмелились бы преподать монарху советы, вы сами более кого-либо другого уверены в боговдохновенности всех монарших начинаний и так далее. Хвалю вас, дорогой месье, очень хвалю за это! Мало горячо и искренне исповедовать свой политический символ веры, надо еще уметь быть дипломатом в распространении своих убеждений. Я вот не сумел быть им в достаточной степени! Когда-то я представил ее величеству проект учреждения постоянного «совета шести». Я хотел заронить этим советом зерно конституционализма, но... но государыня хотя и подписала проект, однако указ так и не был обнародован, а меня постигла тайная немилость, отстранившая меня от возможности влияния на государственные дела. Что же, я сам был виноват. Я забыл то мудрое правило, которое так ярко сказалось в вашей «шутливой» речи: полезное лекарство редко бывает приятным на вкус, его надо давать умеючи...

– Но уверяю вас, граф...

– Хорошо, хорошо! – с прежней тонкой улыбкой остановил меня Панин. – Допустим, что все это вышло случайно. Если вы хотите этого, мы будем делать вид, что так оно и есть. Но вы не можете нам запретить чувствовать по-настоящему. Вы, например, почему-то не захотели пользоваться принадлежащим вам титулом, и мы именуем вас просто «мсье де Бьевр». Но это не мешает видеть в вас человека, равного нам по рождению. Вы не хотите, чтобы мы открыто ценили ваш конституционный образ мыслей. Ну, мы и не будем. Но это не может помешать нам всем считать вас нашим единомышленником, другом русских конституционалистов!

Княгиня Дашкова, подошедшая к нам в этот момент, избавила меня от необходимости продолжать этот курьезный разговор. Зато начался другой, не менее курьезный. Дашкова увела меня в укромный уголок и стала очень пространно и быстро рассказывать о своей переписке с философами Дидро и Мармонтелем, о мыслях, которыми они обменивались по поводу того, что закон вреден, раз он покушается на естественное право человека. В заключение она заявила, что все эти мысли она, к величайшему своему восторгу, встретила в моей шуточной защитительной речи и очень рада, что я принадлежу к числу ее единомышленников.

– С вашим появлением нашего полку прибыло, – сказала она, – потому что вы из тех людей, которые светло и сознательно анализируют устаревшие предрассудки и умеют показать невыгодные, темные стороны последних. Закон, как нечто неизменное, себе самому довлеющее, одинаково обязательное для людей разных уровней, состояний, умов и веков, – абсурд. Вы наглядно доказали это! Я рада, что вы – из наших!

От болтливой княгини Дашковой меня избавило появление Одара с княгиней Варварой. Одар заговорил с Дашковой, а Голицына утащила меня с собой.

– Ну и молодец же вы! – сказала она мне. – А каким тихоней да скромником представился! Ведь оказывается, вы отлично умеете гнуть свою линию; только не хотите грешить по малости, а охотитесь сразу за крупным зверем! Все равно! Теперь я вижу, что вы из наших!

Мы как раз входили в полутемную гостиную, в которой раньше шептались Панин и Дашкова. Я ясно расслышал нервный смешок Адели, но при звуке наших шагов в гостиной все смолкло и наступила подозрительная тишина. Желая под влиянием проказливой мысли проверить свои подозрения, я собирался было предложить Голицыной отдохнуть от шума и толкотни за трельяжем, как вдруг нас сзади окликнул голос Алексея Орлова.

– Сударь, – сказал он, взяв меня за руку и притягивая за собой к большому карточному столу, – мы все непременно хотим чокнуться с вами! – Он протянул мне бокал с шампанским. – Все мы здесь обожаем нашу пресветлую матушку-царицу, и нам особенно приятно видеть, что и иностранец разделяет наши чувства к нашей самодержице! Господа, за здоровье месье де Бьевра!

Все потянулись ко мне с бокалами, а я, любезно чокаясь, иронически думал в то же время, как любят многие люди жить созданными ими же навязчивыми представлениями. Для таких людей мир представляется каким-то театром марионеток, лишенных собственных мыслей и чувств и наделенных лишь теми, какими хотел наделить их управляющий ими антрепренер – «я». Под влиянием веселого опьянения я произнес речь, составленную из далеко не перво-сортных софизмов и сомнительных цветов красноречия. И что же? Я сразу оказался «своим» самым противоположным людям! Друг конституционалистов, я оказался другом самодержавному фаворитизму. Поклонник философии естественного права оказался принадлежащим к шайке беспринципных чувственников, готовых на все ради физического блага... И все это сразу, и все это одновременно, и все это на основании одних и тех же слов... О, люди, люди!

Тем временем танцы кончились, в большом зале захлопотали лакеи, а танцевавшие двинулись в гостиные, которые стали быстро наполняться. Из этой новой толпы то и дело отделялся кто-нибудь, считавший своим долгом сказать мне какую-либо любезность или туманно поговорить на какую-нибудь непонятную, не то отвлеченно-философскую, не то реально-политическую тему. Вообще я заметил у русских неприятную склонность к пустой болтовне, приправляемой для пикантности обрывками афоризмов и клочками мыслей, бессистемно и поверхностно натасканными из творений наших философов. У себя, на родине, мы к этому не привыкли. Француз умеет разделить серьезный разговор от веселой шутиливой беседы. Кроме того, мне было крайне тяжело освоиться с неприятной манерой русских легко и беспричинно пускаться на откровенность и излияния. И не раз, сопоставляя прошлое русского трона, столь богатое переворотами и интригами, с этой неуместной болтливостью, я удивлялся, как могли осуществляться все эти бесконечные заговоры, раз русские так неразборчивы в открывании своих сокровеннейших дум?

Словом, в самое непродолжительное время мне стало очень не по себе, и я начал серьезно подумывать, уж не удрать ли не прощаясь. Но как раз в тот момент, когда я с этой целью проходил по круглому залу, меня заметила императрица, сидевшая в обществе нескольких лиц. Она окликнула меня и ласково предложила присоединиться к ее обществу, в числе которого были между прочим сестры-враги Екатерина Дашкова и Елизавета Воронцова.

Завязался общий разговор, направляемый самой императрицей. Государыне угодно было милостиво расспрашивать меня о течениях и настроениях французского общества, о нашей литературе и театре, так что разговор в конце концов неминуемо свелся на Вольтера и те преследования, которые претерпевали его сочинения со стороны французского правительства. При этом у императрицы сказалась очень симпатичная, живая манера: каждый раз, когда она не могла согласиться с высказываемым мною мнением, она не принималась сама спорить и возражать, а, высказав в самых кратких необходимых словах свое собственное мнение, апеллировала к мнению нашего кружка, заставляя таким образом каждого высказываться. Я заме-

тил при этом, что она очень тонко и искусно стравливала враждующих сестер, которые пользовались каждым удобным случаем сказать друг другу какую-нибудь замаскированную колкость. И тут наглядно бросалось в глаза, какая существенная разница в умственном складе обеих сестер. Ум Дашковой был крупнее, глубже, серьезнее и тяжелее, ум Воронцовой был типичным умом интриганки и авантюристки, для которой образование и умственная дисциплина с успехом заменяются находчивостью, подвижностью и язвительностью. Словесный поединок сестер напоминал мне турнир легкой конницы с тяжелой артиллерией. Конечно, ядра солидных пушек могли бы разнести в клочки конницу, но артиллеристам приходится возиться с установкой и наводкой орудий, а тем временем кавалеристы уже набрасываются на батарею роем вьющихся, жалящих комаров и роем комаров рассыпаются после атаки в разные стороны. И ядра несутся налево, где уже давно пустое пространство, тогда как новая атака идет уже справа. От Вольтера разговор перешел на Фридриха II, у которого Вольтер одно время гостил, пока не поссорился со своим царственным покровителем, а от Фридриха – на присланного им Екатерине жениха, принца Фридриха Эрдмана.

– Кстати, господа, – сказала государыня, – известно ли вам, что принц Ангальт-Кетенский сегодня ночью тайно бежал из России? Он наделал несколько новых глупостей и, боясь ответственности, бежал, словно напавший ребенок.

Все принялись громко смеяться, только Дашкова вздрогнула, выпрямилась, и по ее лицу скользнуло мгновенное выражение радости и торжества. Я понял, что ей известна комедия, проделанная с глуповатым женихом и что она сейчас воспользуется удобным случаем раскрыть императрице всю интригу.

– Точны ли сведения, полученные вашим величеством относительно причин бегства принца Фридриха, – спросила она, – и не явился ли он скорее жертвой чужой дерзости, чем собственной глупости?

В этот момент к нам подошел Григорий Орлов, и я видел, как его глаза беспокойно забегали. Наконец он выразительно посмотрел на Воронцову. Та чуть заметно кивнула ему головой.

– Что ты хочешь сказать этим? – удивленно спросила Екатерина.

– Но, ваше величество, хотя принц выказал себя очень неумным, все же его главным недостатком была излишняя доверчивость. Считая, что он находится при дружественном ему дворе, принц был склонен принимать каждое слово за чистую монету, и этим воспользовались...

– О, Господи, – смеясь перебила сестру Воронцова, – ну, конечно, принц был постоянной мишенью для всевозможных шуток и насмешек, для которых он сам же давал вечную пищу... Но все это было так безобидно... Да, да, принц не очень-то умен, но зато он так красив, так красив, и в моих глазах его красота искупала многое, если не все!

Предумышленно беспечный тон, которым были сказаны последние слова, оказал свое действие, и Дашкова сразу попала в расставленную ей ловушку. Считая, что словам сестры можно придать такой оттенок, который подорвет симпатию Екатерины к Воронцовой, Дашкова горячо ответила:

– Я даже не понимаю, как можно решиться сказать такую вещь! Если бы принц Фридрих приезжал просто навестить свою царственную родственницу, если бы он явился просто в качестве кавалера, тогда мы могли бы махнуть рукой на его умственные качества и видеть в нем лишь красивую куклу. Но ведь ни для кого из нас не тайна, для чего приезжал принц! И после этого решиться сказать, что его наружность может все искупить! Да ведь это в моих глазах – просто «оскорбление величества»!

– Вот что значит дух противоречия! – с непринужденным смехом возразила Воронцова. – Он заставляет нас забывать свои собственные слова! Если я и сказала, что красота искупает все, то лишь потому, что в данном случае о серьезности кандидатуры принца нечего было и думать. Но ты, Катенька, думала об этом несколько иначе. Помните, граф, – обратилась она к

Орлову, – как еще недавно княгиня сказала в кружке, среди которого были даже представители иностранных миссий: «Принц Фридрих Эрдман глуп и красив, это делает его самым подходящим женихом для ее величества!»?

– Но я сказала это вовсе не в том смысле, – взволнованно начала Дашкова, бледнея и покрываясь пятнами под недобрым, ироническим взглядом Екатерины.

– Да, этот смысл достаточно ясно сказался в ваших последующих словах, княгиня, – перебил ее Орлов. – Когда вам заметил кто-то... Ну, да, это был маркиз де Суврэ! Так, когда маркиз де Суврэ заметил вам, что принц Фридрих проявил себя не то что просто глупым, а человеком, вообще лишенным какого-либо ума, вы ответили: «Э, маркиз, много ли ума надо для исполнения супружеских обязанностей, а у нас больше ничего и не требуется!»

Екатерина окинула язвительным взглядом пришибленную фигуру окончательно подавленной Дашковой и, как ни в чем не бывало, рассказала какой-то забавный анекдот о службе принца Фридриха Эрсмана в армии его державного дядюшки Фридриха II. От этого анекдота она перешла опять к Фридриху, от Фридриха опять к Вольтеру и Франции, так что получилось впечатление, будто императрица не обратила серьезного внимания на происшедшее и хочет замять неловкое положение, в котором очутилась Дашкова.

Но это могло лишь показаться человеку, не знавшему характера императрицы. Она внезапно оборвала свой разговор и, посмотрев на Дашкову, сказала ласковым участливым тоном:

– Что это ты, Катя, какая желтая! Ты вообще плоха на вид, и тебе непременно надо несколько дней посидеть дома, а то ты совсем расхвораешься! Ступай-ка ты сейчас домой, не дожидаясь ужина, а то у тебя, видимо, желчь разливается, ну, а для печени поздние ужины очень вредны. Ступай к себе и ляг! Да смотри не смей недельку-другую выходить из дома!

Дашкова встала. Теперь она побледнела еще больше и глухо сказала:

– Вы правы, ваше величество, я чувствую себя очень плохо, и мне надо серьезно лечиться. Но мне вообще вреден здешний воздух. Поэтому я просила бы отпустить меня лечиться за границу!

– Видно, здесь уже все переслушали дашковские сплетни, – будто бы про себя, но достаточно явственно кинул Орлов, – теперь надо их за границей распространить!

Екатерина сделала вид, что не слыхала этой фразы, и прежним шутливо-доброжелательным тоном воскликнула:

– Ну, какая эта Катя легкомысленная! Ведь говорят ей, что для нее вредно даже из дома выходить, а она хочет пуститься в дальнейшее путешествие! Нет, княгиня, видно, ты еще молода, чтобы гулять без няни! Не досмотри за тобой – так ты какую-нибудь неосторожность сделаешь и еще больше повредишь своему здоровью. Видно, надо принять серьезные меры! Вот что, Григорий: откомандируй-ка ты двух офицеров, пусть проводят княгиню до дома да и подежурят там до утра, а утром ты пошлешь туда двух других, пусть меняются на дежурстве! Так ты устрой это и приходи – уж пора бы и ужинать, дорогой хозяин!

Дашкова ничего не сказала; только ее глаза мрачно уставились на Григория Орлова. Затем она обвела ими кружок гостей, обступивших наш уголок, и ее взгляд вспыхнул злобной угрозой; она резко повернулась и не прощаясь пошла к выходу.

Я следил за ее взглядом и заметил, что мрачные искорки вспыхнули в нем в тот момент, когда глаза Дашковой на мгновение остановились на лице Адели.

Я вспомнил смешок Адели, слышанный мною из-за трельяжа полутемной гостиной, вспомнил, как потом встретил ее поправляющей слегка растрепавшуюся прическу у зеркала и как насмешливо посмотрела на нее проходившая мимо Дашкова. Мое сердце на мгновение сжалось каким-то неясным, недобрым предчувствием.

Следующий день был очень знаменательным в нашей судьбе: мечты Адели и ее достойной мамы наконец-то сбылись, и девушка получила золотую оправу, в которой так нуждалась для своего полного торжества.

Я сидел у себя в комнате и читал; под вечер, с наступлением темноты, к Адели явился граф Григорий Орлов.

– Ну-с, барышня, – начал он без всяких подходов или вступлений, – я явился к вам, чтобы закончить наш вчерашний разговор и прийти к какому-нибудь результату.

– Какой разговор? – невинно спросила Адель.

– Тот самый, который мы с вами так уютно вели за трельяжем! – ответил смеясь Орлов.

– Но ведь мы не говорили ни о чем определенном... Мы просто шутили... Я не помню...

– О, какая у вас слабая память, мадемуазель! Ну, так я приду ей на помощь. Я говорил вам, что мое высокое положение при особе ее величества далеко не удовлетворяет меня, так как любовь по обязанности не может наполнить всю жизнь. Мне нужны развлечения, отдых, и этот отдых мне может дать хорошенькая, изящная женщина, на которую я могу вполне положиться. Вы мне кажетесь такой, и вот я предлагаю вам стать моей подругой! Ну, согласны вы?

– Но позвольте, граф, как же так сразу?.. Разве такие вещи решаются с двух слов?

– Уж простите, мадемуазель, но мне некогда заводить длинную волюнку. Этот вопрос должен быть решен теперь же!

– Неужели вы с первого взгляда так полюбили меня, что...

– Э, выкиньте, сударыня, слово «любовь» из нашего лексикона! Я смотрю на это дело проще: вы мне подходящи, а я для вас выгоден. Вы уж меня извините, но актрис любит (в романтическом значении этого слова) лишь тот, у кого не хватает состояния: нет денег, вот и хотят расплачиваться за расположение чувством... Ну а я достаточно богат, чтобы обойтись без этой излишней роскоши. Да и будем откровенны – нужна ли вам эта самая любовь?

Я услышал шум резко отодвигаемого стула: должно быть, Адель встала в позу драматического негодования.

– Вы оскорбляете беззащитную женщину, граф!

– Да бросьте вы громкие слова и трагические жесты! Все это хорошо для театра, а мы с вами сумеем понять друг друга и без этого! В чем тут оскорбление? В том, что я хочу купить то, что продается? Да нет, вы постойте, не говорите ничего! Сядьте и выслушайте меня до конца! Может актриса обойтись без покровителя и довольствоваться другом сердца? Нет, не может, потому что на театральное жалованье она не проживет, друг же сердца не только ничего не приносит, а обыкновенно сам норовит сорвать копейку с любимой женщины. Таким образом, актрисе нужен покровитель? Нужен. Станет кто-нибудь сыпать деньгами так себе, зря? Нет, не станет. Значит, он будет «поддерживать» актрису за что-либо такое, что она даст ему взамен? Безусловно. Значит, между актрисой и ее покровителем происходит торг, и, значит, я не сказал ничего оскорбительного, говоря, что хочу купить нечто продающееся. Кажется, ясно? Так что же мы будем зря тратить слова на разную высокую материю? Дело простое.

– Значит, вы предлагаете мне торг? Ну, что же, давайте торговаться! Изложите свои условия.

– Да чего там условия! Мне нужен сердечный друг, который развлекал бы меня от моей обязательной любви.

– То есть «клин клином вышибай»? От необходимости любить по обязанности вы хотите развлекаться тем, что вас будут из необходимости любить по обязанности?

– А хотя бы и так! Ведь меня громкими словами не испугаешь! Вы мне нравитесь, и я хочу купить ваше расположение. Значит, вопрос в цене! Дело коммерческое!

– Но помилуйте, граф! Раз это – «дело коммерческое», то цену должны назначить вы, а не я! Ведь не я пришла к вам с предложением купить меня, а вы пришли с этим ко мне!

– Извольте! Первым делом вы получите от меня дом на Морской, снабженный и обставленный всем, что только может пожелать самый избалованный вкус. Затем вам открывается самый широкий доступ в мои карманы. Уж в этом вы можете поверить моему самолюбию: подруга графа Орлова не будет нуждаться ни в чем!

– Допустим. Ну-с, а теперь что потребуется от меня за это?

– Господи! Неужели и это нужно еще оговаривать? Ну... вы должны постараться любить меня, насколько это для вас возможно. Но если вы даже и не будете в состоянии заставить свое сердце полюбить меня, то измены с вашей стороны я все-таки не допущу и не позволю! Значит, вторым условием является верность. Ну, а третье условие вы, я думаю, соблюдете и без моего предупреждения, так как оно вам, пожалуй, будет нужнее моего. Это условие – держать наши отношения в строжайшей тайне, так как у меня немало врагов, которые воспользуются удобным случаем поссорить меня с императрицей. Поссорить-то нас из-за этого еще не удастся, но во всяком случае для меня возникнут затруднения... А для вас... для вас дело может кончиться хуже, так как императрица еще может помириться с моей изменой, но с подчеркнутой бравадой вашего торжества она не помирится.

– Ну я-то, разумеется, не стану бегать по улицам и кричать о том необыкновенном, сверхъестественном счастье, которым сподобил меня граф Орлов. Но удастся ли вам вообще окружить это достаточной тайной? Ведь вы только что изволили выразить, что зря никто денег не бросает. Значит, вы будете посещать меня. Но ведь вас могут проследить... Да и кроме того, наверное, мой переезд в роскошный дом на Морской вызовет толки и пересуды, так что...

– О, относительно этого не беспокойтесь, дорогая! Я уже все это сообразил. У меня в числе адъютантов есть очень милый офицерик, по имени Аркадий Марков. Он мне предан и сделает все, что я захочу. Так вот, официально вы будете состоять подругой Маркова. Правда, он не настолько богат, чтобы дарить вам целый дом, но это я тоже устрою: мы будем сегодня же держать с Аркадием пари на этот дом, и пари я проиграю. Значит, с этой стороны все будет в исправности. Ну-с, так что же? Ваш ответ, сударыня?

– Я согласна.

– Следовательно, отныне я могу смотреть на вас как на свою подругу?

– Может быть, вы желаете сейчас же воспользоваться своими новоприобретенными правами?

– Сколько язвительности в этой рыженькой головке! Позвольте мне сначала преподнести вам вот это.

– О, какие чудные камни!

– А затем разрешите поцеловать вашу ручку и удалиться! Сюда я больше не приду, но на этих днях к вам явится ваш новый дворецкий с сообщением, что дом ожидает свою повелительницу... Кстати, ваш блаженненький маркиз не воспротивится переезду и не выкинет какой-нибудь гадости из ревности?

– Да что вы, граф!.. Ведь вы же знаете, что маркиз – не от мира сего. При чем здесь «ревность»? Ведь я уже говорила вам, что между мной и маркизом...

– Никогда ничего не было и не будет? Та-та-та! Блаженны верующие, так как им легко жить на свете! Впрочем, ваш чудак действительно непохож на всех людей, так что меня интересует лишь один вопрос: достаточно ли сильно ваше влияние на него, чтобы помешать ему проболтаться обо всем этом?

– Позвольте, граф: ведь вы же сами упомянули, что в этом случае я рискую больше, чем вы...

– Вы совершенно правы. Итак, до свиданья, божественная, до свиданья в вашем доме! Послышался громкий звук поцелуев, потом щелкнула дверь, и все смолкло.

Я слышал, как Адель несколько раз прошлась по комнате, и по звуку ее шагов понял, что она была сильно взволнована. Ее думы, выраженные вслух, пояснили мне причину ее волнения.

– Tu l'as voulu, Georges Dandin, tu l'as voulu! («Ты этого хотел, Жорж Данден, ты этого хотел!» – фраза из комедии Мольера «Жорж Данден», в которой выводятся бедствия богатого буржуа, женившегося на женщине высшего круга. Эта фраза вошла во французский язык на правах пословицы и обозначает: «Вини самого себя».) – мрачно сказала Адель. – Я могла бы любить тебя, готова была бы стать для тебя всем... Но ты приравнял меня к товару... Хорошо же! Я и буду для тебя только товаром! – Она засмеялась неприятным, резким смехом. – Хорошо же, граф Орлов! Торжественно обещаю вам, что, как бы ветвисты ни были те рога, которые вы наставите ее величеству, ваши собственные рога будут еще роскошнее и ветвистее!

Теперь, припоминая все происшедшее, я прихожу к заключению, что цинизм Орлова, проявленный в этом бесстыдном объяснении, сыграл главную роль в окончательном крушении лучшей части души Адели. Действительно, до сих пор каждая связь Адели была именно падением, так как «падение» предполагает определенную высоту, на которой стоял данный человек, опустившийся до того или иного поступка. Со времени же связи с Орловым Адель не падала, а лишь катилась по наклонной плоскости. Орлов сумел убить в ней последние остатки женской стыдливости, последнюю веру в торжество добродетели, последнее доверие к чистоте мужских поползновений. А так как достойная маменька сумела достаточно старательно подготовить почву ее души, то надо ли удивляться, что на разрытой и тщательно унавоженной почве семена разврата выросли таким пышным, роскошным цветком?

Когда через неделю мы переехали в подаренный Орловым дом, комнаты Адели вскоре стали очагом самого разнузданного пиршества страстей.

Глава 7

Орлов не любил Адели. Правда, он осыпал ее подарками, и касса старухи Гюс росла с невероятной быстротой. Но богатство слишком легко доставалось самому Орлову, да и, кроме того, он был слишком тщеславен, чтобы скупиться на подарки. И щедрость никак уже не могла служить мерилom его чувства.

Почему же он взял Адель? Да потому, что она была лучшим из всего, что мог предложить интернациональный рынок любви в Петербурге. Она была красива, молода, изящна, была прославленной, модной артисткой. Кроме того, весьма возможно, что и моя скромная особа сыграла здесь не малую роль. Ведь для женщины является немалым ореолом, когда ради бескорыстной и неразделенной страсти к ней человек поступается титулом и состоянием. А благодаря ловкой лжи Адели меня считали в Петербурге именно таковым.

Кроме этого, положение Орлова было тоже не из легких. И его душа нуждалась действительно в отдыхе и забвении. Ведь ему приходилось качаться между совершенно противоположными чувствами и отношениями. Личностями, являвшимися пунктами этих качаний, были сама Екатерина и ее питомица, Катя Королева.

Ни для кого в Петербурге не было тайной, что государыня смотрела на некоторые стороны жизни более чем просто (по отношению к себе, по крайней мере). Когда-то она действительно любила Григория Орлова, любила настолько сильно, что серьезно подумывала даже о браке с ним. Но угар страсти прошел, и государыня увидела, что Орлов никоим образом не годится для этой роли. Даже больше: он был бы опасен со своим непомерным честолюбием и беспринципностью. Он мог бы легко уготовить ей ту же судьбу, которая постигла Петра III. И так канул в лету проект, составлявший предмет самых пламенных мечтаний фаворита.

Угар страсти у императрицы прошел, но влечение все же оставалось. К тому же Орловы были нужны Екатерине, еще не чувствовавшей достаточно прочной почвы под ногами. И Григорий Орлов остался в положении фаворита; однако у него были вечные соперники – «дольщики», как их язвительно называли придворные. Правда, эти «дольщики» отнюдь не пользовались ни малейшим политическим влиянием, и самолюбию Орлова, как государственного человека, они ущерба не приносили. Но его самолюбие, как мужчины, не могло не страдать от той неразборчивости, с которой избирались эти «дольщики». Достаточно было того, что человек нравился Екатерине, и этот человек, независимо от своего происхождения и положения, получал к ней самый интимный доступ. И пусть этот доступ был кратковремен, пусть в большинстве случаев «счастливый избраннык» на другое же утро бесследно исчезал – все равно необходимость ради прочности политического положения «идти в долю» с подобным «избранныком» не могла содействовать нравственному удовлетворению Орлова. Он был пылок и молод. И встреча с таинственной фрейлиной государыни Катей Королевой решила участь его сердца – он полюбил ее, полюбил мрачной, безнадежной, пламенной любовью.

Да, это счастье было безнадежно. Он знал, что Екатерина простит ему физическую измену, но не измену сердца. Кроме того, сама Катя относилась к нему с пугливым отвращением. А тут еще подвернулся маркиз де Суврэ, отнявший последнюю надежду на то, что, может быть, со временем чувства Королевой к Орлову изменятся в лучшую сторону. И под влиянием всего этого Орлов испытывал безнадежную пустоту в сердце, пустоту в личной жизни.

В жизни сердца наблюдается то же самое, что и в физической жизни. Человек не переносит пустоты и стремится хоть как-нибудь заполнить ее. Изголодавшийся человек глотает камешки, куски дерева и кожи, заранее зная, что от них сыт не будешь. Но он уже и не мечтает о сытости: сначала хоть чем-нибудь избавиться от этого невыносимого ощущения пустоты!

Так было и с жизнью сердца Орлова. Чтобы хоть чем-нибудь заполнить зияющую пустоту в личной жизни, он сошелся с Аделью. Она была для него лишь камнем голодающего, но кам-

нем дорогим, нарядным и сверкающим. Сердце молчало, но физические чувства говорили. Словом, Адель была для него тем же, чем был он сам для Екатерины. И как Орлов находил острое удовольствие дерзко обманывать свою венценосную подругу почти на глазах у нее, так Адель с изумительной наглостью ставила рога своему сиятельному покровителю. При этом положение Екатерины и Орлова объединялось еще и тем, что оба они не доверяли своим друзьям, и, как Екатерина была уверена, что Орлов обманывает ее, но только не знала твердо, с кем именно, так и Орлов ни на грош не верил в верность Адели.

Правда, проделки обоих сохранились в тайне лишь до поры, до времени. Но все же, как могло случиться, что при том высоком положении, которое занимал в государстве Орлов, и при той роли модной львицы, которая выпала на долю Адели и заставляла ее быть на виду у всех, возможно было скрываться так долго? Разгадку этому мы находим именно в самих положениях Адели и Орлова.

Положение Адели, как актрисы и фаворитки, предоставляло ей большую свободу нравов. В том, что у Адели бывала золотая молодежь, засиживавшаяся иногда чуть ли не до утра, никто не мог видеть ничего необыкновенного. А если она кое-кого из них и осчастливливала иной раз интимной лаской за приличное вознаграждение, то не шел же осчастливленный хвастаться своим успехом самому Орлову?

Точно так же и выдать Орлова Екатерине было некому. Друзья не стали бы делать это, так как падение временщика было бы и их падением. А враги не имели в руках доказательств, достаточных для полной улики измены Орлова. Панин сунулся было к императрице с шутливым замечанием, скрывавшим в себе намек на отношения Орлова и Гюс, но Екатерина навела справки, узнала, что актриса находится на содержании у Аркадия Маркова, который, хотя и не может похвастаться большим состоянием, зато ведет широкую и счастливую игру, и сочла слова Панина гнусной клеветой и интригой. В наказание она послала Панина с продолжительным поручением в Варшаву. Это было явной немилостью, так как поручение было до смешного незначительным и могло бы быть с успехом исполнено простым курьером. Это отбило охоту соваться к императрице с необоснованными документально наветами. И достойная чета Орлов – Гюс продолжала свою недостойную игру.

Жизнь Адели шла веселым, нескончаемым праздником. Ее появление на сцене сопровождалось бурным, головокружительным успехом. Прогулки, катанья, появление в театрах в качестве зрительницы или на вечерах у знатных особ в качестве исполнительницы превращались в сплошной триумф. Подарки так и сыпались на нее со всех сторон, и мамаша Гюс с ловкостью и опытностью присяжного закладчика сортировала их – это оставить для ношения Адели, то – сохранить для показа в качестве артистических триумфов, а вот это – обратить в деньги. Даже то обстоятельство, что Роза явно сходила с ума, впадая в страшное ханжество и болезненную скупость, не мешало безумным тратам Адели; она без удержу забирала в лавках все, что ей хотелось, спокойно подавая счета Орлову, а он оплачивал их, не говоря ни слова. Ее интимная жизнь тоже отличалась если не полнотой, то разнообразием. Даже перчатки не менялись у нее с такой быстротой, как сменялись вечные «капризы на час». И я видел, как Адель падала все ниже и ниже. В Петербург она приехала девчонкой, развращенной умом, но не телом; больше знавшей и говорившей о разврате, чем занимавшейся им. В водовороте петербургской жизни она стала настоящей гетерой с холодным сердцем и горячей чувственностью. Однажды во время загородной оргии подвыпивший Орлов потребовал, чтобы Адель скинула с себя одежды, и она сделала это со спокойной улыбкой и ясным взором, без малейшего румянца смущения...

А я? Но что же я! Ведь я уже описывал ранее, как еще в Париже мне пришлось смирить себя, подавить свою нравственную брезгливость. У меня не было выхода – я должен был играть свою жалкую роль. Поэтому не буду касаться своих внутренних переживаний – они однооб-

разны и скучны. А что касается чисто внешней роли, то мне удалось очень удачно выдержать ее в тех тонах, которые предписывала выдумка Адели.

Мое положение при популярной гетере как-то никого не удивляло. Надо мной немножко посмеивались, меня считали «блаженненьким», «юродивым», «Дон Кихотом наизнанку». Но это не мешало петербуржцам интересоваться мной и относиться ко мне с искренним уважением. Мне стоило немалого труда отшучиваться и уклоняться от нежных сетей, которые мне расставляли русские аристократки, а однажды графиня Брюс, одна из интимнейших поверенных императрицы, весьма недвусмысленно намекнула мне, что, стоило бы мне пожелать, и... Но я оставался стойким и непоколебимым в решении соблюдать полную чистоту, что не мешало мне каждый раз шутливо оспаривать это. Таким образом, я занял выгодное положение человека, которого «никак не поймешь». Этого уже достаточно, чтобы проникнуться уважением. А уважение ко мне возросло после одного случая.

Еще с того времени, когда я под действием весеннего волнения крови поддался чарам Сесили, мною овладело твердое решение утомлять тело физическими занятиями, чтобы этим побеждать его мятеж. С этой целью я ежедневно занимался гимнастикой, много ходил пешком, совершал на лодке большие прогулки и вообще старался направить в эту сторону избыток физических сил. Конечно, в том возрасте никакая гимнастика не могла вполне гарантировать меня от падений, но зато она развила во мне привычку к упражнениям мускулов, так что однажды я случайно обнаружил в себе довольно значительную силу. Конечно, эта сила не могла идти ни в какое сравнение с силой геркулесов Орловых, но она все же производила большое впечатление, так как не вязалась с моей стройной, хрупкой фигурой. Вот эта сила и увеличила степень уважения ко мне при следующем случае.

Однажды мы отправились веселой компанией ужинать в загородный ресторан, называвшийся «Красный кабачок». Среди присутствовавших был немчик, барон фон Фельтен, очень легко напивавшийся и в подпитии становившийся невыносимым вследствие своей неприличной придиристичности. И на этот раз у него сказался этот недостаток, причем жертвой пришлось стать Адели. Получилось очень неприятное положение. Маркова в нашей компании случайно не было, а Григорий Орлов не мог вступить за Адель, так как среди нас было несколько сторонников партии «Панин-Дашкова» (иногда приглашать таковых бывало необходимо по тактическим соображениям). Выступление Орлова на защиту чести особы такого легкого поведения как Адель, сразу скомпрометировало бы их отношения, чего, видно, и добивались «дашковцы», подзуживавшие Фельтена. Поэтому Орлову приходилось «строить веселое лицо при плохой игре», а расходившийся немчик становился все наглее и наглее.

Наконец он стал требовать, чтобы Адель поцеловала его, и в виде платы за поцелуй высыпал перед ней кучу медных монет.

Адель, недолго думая, запустила ему медью в лицо, а Фельтен назвал ее тем вульгарным, некрасивым, обидным словом, которым парижанин зовет самую несчастную, истерзанную, бесповоротно низко павшую распутницу.

У Адели от неожиданности и глубины оскорбления брызнули слезы из глаз. Я встал, подошел к Фельтену, взял его за шиворот и деликатно выбросил из окна на улицу, благо мы сидели в нижнем этаже.

Через минуту Фельтен ворвался опять к нам в кабинет и с пеной у рта стал требовать «сатисфакции», наступая на меня с обнаженной шпагой. Я достал из кармана пистолет, взвел курок и заявил барону, что драться с ним на дуэли я не буду, так как считаю человека, способного оскорбить беззащитную женщину, недостойным чести быть моим противником. Если же он, Фельтен, не успокоится и не выйдет сейчас же отсюда вон, я просто застрелю его, как дикое животное.

Все присутствующие, не исключая и друзей Фельтена, должны были согласиться, что я прав. Правда, они не соглашались с законностью моих мотивов для отказа от дуэли, но нахо-

дили, что дуэль может быть решена лишь тогда, когда барон протрезвится. Словом, расходившегося офицера обезоружили и увезли домой.

Но дуэль все же не состоялась. На другое утро императрица, узнав от Орлова об этой истории, вызвала барона во дворец, хорошенько намылила ему голову и приказала сейчас же ехать извиниться перед Аделью и мной. Так и было сделано. Сконфуженный Фельтен явился к Адели с огромным букетом цветов и очень чистосердечно извинился за гнусный поступок, совершенный его «двойником».

– Ведь когда я выпью, я становлюсь совсем другим человеком, – наивно объяснил он Адели. – Вот этот «другой человек» вечно подводит меня!

Фельтен был милостиво прощен и с тех пор проникся к Адели платонической страстью и бескорыстным обожанием.

А я в тот же вечер получил от государыни перстень с крупным алмазом при собственноручном письме ее величества. В этом письме, которое я благоговейно храню до сих пор, императрица писала мне, что она шлет мне этот подарок не как русская самодержица, а как женщина, благодарная за женщину. Она замечала при этом, что неудивительно, если рыцарь вступается за благородную, высокую даму, и неудивительно, если обожатель защищает честь любимой женщины. Я же вступился за женщину, от которой ничего не ищу и общественное положение которой не дает ей оснований быть уж очень обидчивой. Но женское достоинство одинаково живет в груди как аристократки, так и нищей, и, как женщина сама, Екатерина и шлет мне «этот скромный знак ее женской благодарности».

Случай с Фельтеном заставил золотую молодежь, толпившуюся около Адели, быть осторожнее и почтительнее с нею. Кроме того, интерес к артистке был еще более возбужден этим. Все наперерыв старались добиться благосклонности Адели, что удавалось довольно легко. Но о победах над «женской стыдливостью» Адели не очень-то болтали: все эти пижоны были уверены, что я ничего не знаю о бесшабашном поведении Гюс и что таким образом они обманывают меня, бескорыстного рыцаря чести Адели.

Если бы они знали, что на другое утро после каждой такой «победы» я старательно выводил в толстой шнуровой книге:

«Января, 7-го (18) дня. От корнета гр. Шереметева поступило:

1) Наличными в золотых русских червонцах 6.000.

2) Браслет со смарагдами – см. в книге инвентаря, стр. 19». Или:

«Марта, 3-го (14) дня. Выручено за золотое блюдо, полученное от ар. Нольде... 3.750 фр.».

Да, если бы они знали об этом! И если бы знала это императрица, которая с таким удовольствием принимала меня на своих эрмитажных собраниях, постоянно подчеркивая во мне человека знатного происхождения и высокой чистоты!

Шло время. Наступала зима с ее суровыми морозами, неистовыми вьюгами и веселым катаньем на бешено мчащихся тройках. Пришло радостное Рождество с новыми увеселительными поездками, ряженьем, кутежами. А там и Масленица показала свое сытое, румяное лицо! Вот уж действительно русский национальный праздник – эта Масленица! Мы с Аделью попробовали было один только разочек справить ее по-русски, да и то пришлось звать доктора, и добрый Роджерсон, лейб-медик императрицы, немало ворчал, избавляя нас от конвульсий и спазм, причиненных непомерной тяжестью блинов. Представьте себе толстую лепешку из теста, жирно поливаемую маслом и сметаной. Вот эта лепешка и называется у русских «блин». Сверх масла и сметаны русские накладывают еще икры или соленой рыбы, а любители запекают в самое тесто особых маленьких рыбок, называемых «снятки», или мелко искрошенные

яйца, лук и т. п. И таких лепех, приправленных всякой всячиной, хороший едок отправляет в свое чрево до 25–30 штук! Алексей Орлов ухитрился доводить это количество до полусотни. Впрочем, я видал тоненьких «субтильных» дам и девиц, которые съедали по пятнадцать блинов. Мы с Аделью съели что-то по пяти или по шести блинов, да и то нам сделалось скверно, а ведь русские вдобавок заливают неимоверное количество пожираемого теста не менее неимоверным количеством водки, вина и кваса. А после блинов они едят еще уху, что-нибудь жареное и сладкое! Бог мой! Мне рассказывали, что у русских сложилась такая поговорка: «Что русскому здорово, то немцу смерть». Наверное, эта пословица имеет в виду блины!

Кончилась неделя масленичного обжорства, и столица приняла унылый вид. Печально перезванивались колокола, напоминая жителям о необходимости покаяния и молитвы. Только в России я понял, какое мудрое установление – Великий пост! Ну, что случилось бы с русскими желудками, если бы после Масленицы для них не наступало принудительной диеты?

Но и пост промелькнул, наступила Пасха. А там повеяло весной, наступили перламутровые, белые ночи, полные мечтательной неги, полусознательного томленья... Я стал с ожесточением заниматься гимнастикой, совершал далекие путешествия по Неве на взморье, даже колот дрова, побеждая беса сладострастия. Быстро проскользнуло короткое задумчивое лето. Пришла золотая осень с ее бодрящей свежестью. И тут у нас появились новые заботы.

Адель была приглашена в Россию только на один год; ее контракт ясно гласил, что по истечении пробного годового срока интендант придворных театров должен известить ее о желании или нежелании продолжить срок договора; в случае, если интендант не найдет нужным удерживать артистку на более продолжительное время, она через шесть месяцев может вернуться домой.

Конечно, легкомысленная Адель ни о чем таком даже не думала. Когда я обратил ее внимание на это обстоятельство, она поручила мне все устроить. Я отправился к Сумарокову, заведовавшему придворными труппами, но интендант заявил мне, что он должен сначала доложить об этом ее величеству, и просил меня навестить через недельку.

Однако и через недельку оказалось, что вопрос все еще не решен и находится на заключении у личного секретаря ее величества Одаря. Я отправился к Одару. Он принял меня очень любезно, наболтал много всякой любезной чепухи, но прямого ответа все же не дал, намекнув, что вопрос о продолжении срока контракта Адели находится в весьма неопределенном состоянии, так как возникли совершенно особые трения, не имеющие ничего общего с искусством. Он дал мне совершенно ясно понять, что в разговоре со мной эти трения не могут быть устранены и будет лучше всего, если к нему заглянет «многоуважаемая мамаша девицы Гюс».

Но тут я должен представить читателю несколько сценок, без которых все дальнейшее не будет достаточно понятным. Сам я узнал об этой интриге лишь случайно и во время вторичного пребывания в России. Но не все ли это равно? Ведь я описываю здесь пеструю историю приключений девицы Гюс, а не хронологию поступавших ко мне сведений?

Дашкова, так неожиданно попавшая в открытую немилость и просидевшая целый месяц под домашним арестом, не могла помириться со своим поражением, понесенным как раз в тот момент, когда в душе она уже торжествовала победу. Читатель помнит, что она надеялась вызвать охлаждение Екатерины к Орлову разоблачением проделок последнего, вызвавших бегство принца Фридриха. Домашний арест и нежелание императрицы видеть Дашкову лишали энергичную подругу графа Панина возможности взять реванш. А вскоре дальнейшее течение событий показало ей, что бегство принца вообще надо выбросить из арсенала нападения на фаворита, так как Орлов сумел предохранить себя с этой стороны. Однажды на эрмитажном собрании маркиз де Суврэ начал было разговор о бывшем женихе императрицы, и испуганным Орловым с трудом удалось отвлечь внимание Екатерины от этой опасной темы. Чтобы навсегда покончить с этим, они решили «повиниться». Орловы выбрали наиболее удачный момент,

когда расположение Екатерины к своему любимцу вновь достигло краткого апогея, и в шутиливой форме рассказали государыне о бедствиях, перенесенных Фридрихом Эрдманом. При этом они, разумеется, сказали только часть правды. Екатерина много смеялась, журила Орловых, но тем дело и кончилось. Теперь уже нечего было разоблачать: полуправда в большинстве случаев является лучшей броней для тайны.

Вскоре случились одновременно два маленьких события. Елизавета Воронцова, в сущности, не любившая Орловых, а видевшая в Алексее убийцу ее обожаемого Петра III, вздумала пойти им наперекор в каком-то пустяке. Теперь она была уже не нужна им: Панин был услан с поручением, у Дашковой отняли ее оружие. И Орловы решили отделаться от Воронцовой. Случай к этому скоро представился: Екатерине пришла в голову сумасбродная мысль женить Алексея Орлова на Воронцовой. Алексей был искренне привязан к своей Тарквинии, к тому же Воронцова была некрасива и капризна. А Воронцова, втайне чтившая память того, кого она называла «святым мучеником», считала святотатством даже мысль о возможности брака с «палачом мученика». Выражение, неосторожно вырвавшееся у нее по этому поводу, было немедленно передано государыне, и Воронцова перестала появляться при дворе.

Зато ко двору снова явилась Дашкова, причем Орловы сумели дать ей понять, что прощение состоялось лишь по их настоятельной просьбе. Но они сильно ошибались, если думали, что им удастся умиротворить этим ее мстительность. Нет, Дашкова только притихла, только затаила глубже жажду свести счеты с ненавистным фаворитом. Но теперь она хотела нанести удар решительно, верно и метко. И для этого разработала целый план.

Да, поднимать историю принца Фридриха было бы неумно и бесцельно; к тому же Екатерина относилась к своей бывшей любимице очень холодно и не снисходила до простой неофициальной беседы с ней. Но ведь Екатерина потому отнеслась так снисходительно к проделке фаворита, что видела в этом проявление его ревности. Но что, если Дашковой удастся доказать государыне, что в это же время Орлов изменял своей царственной возлюбленной? Екатерина будет двояко уязвлена. Она будет оскорблена как женщина, а как государыня, она увидит опасность в опеке, которой ее окружили Орловы. Ведь если не ревность диктовала Григорию желание избавиться от соперника, значит, он вмешался в это сватовство из политических мотивов; значит, он и в другом может действовать вразрез с ее намерениями. А Екатерина к своей власти относилась еще более ревниво, чем к своему женскому обаянию.

О, будь у Дашковой прежние отношения с государыней, какие были с робкой великой княгиней и гонимой императрицей-женой, тогда и говорить было бы нечего! Ведь в те времена Екатерина советовалась с Дашковой обо всем и позволяла ей обсуждать что угодно. Дашкова сумела бы доказать государыне, что связь Орлова с Гюс – не одни лишь сплетни, что это – не обычная мужская шалость, так как многое в отношениях Орлова к Гюс является злейшим оскорблением императрицы, таким, какого не простит своему возлюбленному самая серая мешанка. Достаточно уже того, что цепь, подаренная Екатериной Орлову, была переделана в браслет, который Гюс носила на ноге! И тогда не понадобилось бы представлять фактические доказательства: их добыла бы сама государыня, приказав сделать обыск в доме актрисы.

Но теперь этот путь не годился. Теперь государыня не даст ей и рта раскрыть, и новая немилость будет наградой за попытку разоблачить предательство фаворита. Теперь к императрице надо идти с документом в руках. И, сидя под домашним арестом, Дашкова тщательно обдумывала план, как добыть уличающий документ. Для этого она с тщательной, кропотливой старательностью окружила Гюс тайным надзором и вела свою линию с той гениальной прозорливостью, какую дает женщине пламенная ненависть.

Разумеется, этой ненависти она отнюдь не питала к Адели. Она скорее симпатизировала актрисе, и впоследствии, когда они обе встретились в Париже, они были добрыми приятельницами. Но Гюс была оружием для низвержения Орлова; так пусть же сломается оружие, лишь бы оно нанесло смертельную рану врагу.

Сведения, доставленные Дашковой ее шпионами, вполне подтвердили ее подозрения относительно связи Орлова и Гюс, которые родились в ней еще на знаменательном вечере в доме фаворита. Дашкова знала в точности, когда именно бывал Орлов у актрисы, сколько он у нее сидел; где они были, что делали, что подарил ей фаворит – словом все. Но это не были фактические доказательства. Чтобы добыть их, Дашкова обратилась к помощи Маши Петровой.

Маша была вольноотпущенная крепостная Дашковой, ее молочная сестра и подруга ее детских игр. Дашкова обучила ее читать и писать, вместе с нею занималась французским языком, возила с собой за границу и сделала из Маши настоящую субретку из комедии Мольера – умную, грамотную, ловкую, хитрую и бесконечно преданную своей госпоже. И вот, узнав, что Адель благодаря своему дурному характеру вечно нуждается в опытной камеристке, Дашкова сумела пристроить на это место Машу.

Последняя сразу вошла в доверие Адели и расположила ее к себе ловкостью и смирением. И хитрая камеристка стала терпеливо ковать свои сети. Однажды Адель бросила полученную от Орлова записку в камин и сама ушла из комнаты. Маша выхватила слегка обуглившуюся бумажку, прочитала и спрятала. В другой раз Адель послала Машу с запиской к Орлову. Печать была плохо приложена, и Маша, вскрыв и прочитав записку, передала несложное поручение на словах. Так же она поступила и с ответом Орлова.

Теперь в ее руках было три документа. На следующее утро, причесывая Адель, она намеренно дернула ее за волосы; Адель взвизгнула, ударила камеристку, та «обиделась» и отказалась от места. После этого Маша вообще исчезла на некоторое время с горизонта: для безопасности Дашкова услала ее в одну из своих деревень; сама же, спрятав записки в мешочек, с которым она не расставалась, стала ждать случая. И вскоре таковой представился ей.

Глава 8

Однажды Екатерина застала Дашкову в одной из комнат дворца, когда княгиня сидела, задумавшись о Панине. Она только что узнала, что на скорое возвращение графа нет надежды, и ей сильно взгрустнулось. Дашкова думала о своей юности, полной радостных надежд и мечтаний, вспоминала годы дружбы с Екатериной, переворот, осуществившийся в значительной степени благодаря ее деятельной пропаганде. И на ее красивых глазках проступили слезы при мысли, что теперь у нее, кроме Панина, нет ни одного близкого человека и не с кем ей перемолвиться искренним, душевным словом.

Екатерина несколько минут смотрела на грустное лицо своей бывшей приятельницы, и в ее душе шевельнулось чувство сожаления. Она подошла к Дашковой, ласково обняла ее и сказала:

– О чем задумалась, Катенька, и чего ты загрустила?

Дашкова сейчас же решила ковать железо, пока оно горячо. Она схватила руки императрицы, стала целовать их, стряхивая слезинки, и лихорадочно зашептала:

– Не спрашивайте лучше, ваше величество, лучше не спрашивайте!

– Но почему же мне и не спрашивать? – удивленно отозвалась Екатерина, целуя Дашкову в заплаканное личико и усаживаясь рядом с нею.

– Потому что все равно вы не поверите мне! О, какая это мука – все видеть, все знать и... молчать! Видеть, как на каждом шагу обманывают самого дорогого, самого обожаемого тобой человека, держать при себе документы, подтверждающие этот обман, и... молчать... молчать потому, что тебе все равно не поверят, тебя не выслушают, тебе не дадут договорить до конца!

Дашкова заплакала опять: она умела входить в роль.

– Но что с тобой, Катя? Право, я ничего не понимаю! Ты больна?

– Телом – нет, но мое сердце разрывается от боли...

– Но ты, наверное, больна! Уж не бред ли у тебя? Кого-то обманывают, какие-то документы...

– О, если бы это было бредом!

– Да кого обманывают-то?

– Кто же мне дороже всего на свете? Кого я обожаю, как свое божество? О, ваше величество! Три года тому назад вы не спросили бы об этом! Тогда вы знали бы, что только из-за вас я могу так страдать! Да, ваше величество, обмануты вы!

Екатерина вздрогнула, брезгливо отдернула руки, которыми она нежно обнимала Дашкову, и презрительно сказала:

– Вы, ваше сиятельство, опять принимаетесь за старое? Опять интриги и сплетни?

– Я заранее говорила, что мне не поверят! – с отчаянием крикнула Дашкова. – О, почему я не могла промолчать! Но теперь...

– Нет-с, княгиня, теперь вы молчать не будете, теперь вы договорите до конца! Но только помните одно: каждое обвинение должно быть доказано документально! Иначе... Благоволите вспомнить, ваше сиятельство, что я не церемонюсь с интригующими сплетниками! Ну-с, я жду!

– Ваше величество! Я знаю, что господа Орловы...

– Вы хотите, вероятно, сказать – графы Григорий и Алексей Орловы? Но это – мелочь. Продолжайте!..

– Я знаю, что графы Орловы повинились вашему величеству в ряде проделок над принцем Фридрихом Эрдманом. При этом они сообщили вашему величеству только половину правды и представляли все это дело много иначе, чем оно происходило на самом деле. Но и

сказанного ими было бы достаточно для гнева вашего величества, однако вы объяснили мотивы графа Григория ревностью и потому...

– У вас имеются документальные данные, подтверждающие мои чувства и мотивы, княгиня? Нет? Тогда я уже попрошу отложить рассуждения до более удобного времени!

Дашкова вспыхнула, встала, засунула руку за корсаж, достала оттуда шелковый пакетик, разорвала его и сказала:

– У меня имеются документальные данные, что граф Григорий Орлов, с ведома и попустительства своего брата Алексея, смеется над вашим величеством в объятьях низкой распутницы и что эта связь возникла в то время, когда «ревность» графа Григория вызвала его на ряд недостойных проделок над принцем Фридрихом. Вот эти данные!

Екатерина взяла из рук Дашковой три записки, и при первом же взгляде на них ее лицо покрылось сильной бледностью. Однако она мощно подавила в себе движение слабости и волнения. Она пробежала записки и сказала с холодным пренебрежением:

– Недурно сделано! Почерк графа Григория очень похож! Скажите, княгиня, это вы сами писали или давали на заказ?

– Ваше величество! – вскрикнула Дашкова, не веря своим ушам.

– Молчите, княгиня! – строго оборвала ее императрица. – Вы заслуживаете того, чтобы я отдала вас под суд за учинение подлога с целью ввести в обман свою государыню. Но в память прежней дружбы, которой я дарила вас когда-то, я избавляю вас от этого позора. Вы еще недавно просились у меня за границу для поправления своего здоровья? Поезжайте! Даю вам два дня на сборы! Но если третьи сутки застанут вас в Петербурге, то вы отправитесь прямо в тюрьму! И помните еще, что, если вы вздумаете распускать ваши гнусные сплетни и впредь, моя карающая рука достанет вас и за границей! А теперь подите вон!

Дашкова хотела что-то сказать, судорожно глотнула воздух и рухнула в глубоком обмороке. Императрица приказала дежурному камергеру отправить Дашкову домой, послать к ней Роджерсона и по приведении в чувство напомнить Дашковой, что повеление государыни остается в прежней силе, несмотря ни на какие обмороки или болезни. Затем, взяв с собой записки, государыня удалилась в кабинет, куда через полчаса был вызван Одар.

Одару Екатерина сказала:

– Помните: все, услышанное вами здесь сейчас, должно навсегда остаться в тайне. Взываю не к вашей порядочности, а к вашему разуму. Вы знаете, как я умею благодарить и как умею карать. Мне нужен ваш совет. Слушайте!

Екатерина рассказала ему разговор с Дашковой и подала записки. Одар прочел:

«Государыня по счастливой случайности занемогла, и я сегодня вечером свободен. Жди меня с компанией к ужину. Вероятно, брат Алексей тоже завернет. Во всяком случае, чтобы хватило персон на двадцать пять; мы будем нашим тесным кружком. Так будь умницей и устрой все, как следует. Значит, до скорого свидания. Целую твои лапки!»

«Милый Гри-Гри, мне непременно надо знать наверное, состоится или нет наша „охота“ в субботу, так как сегодня вечером будет распределение спектаклей, и если я не приму мер, то может случиться, что я окажусь занятой. Если же я откажусь на субботу, а наша поездка будет перенесена на другой день, то опять-таки может выйти неловкость: нельзя же отказываться постоянно. Непременно ответь хоть на словах!»

«Охота будет, но настоящая: государыня пожелала принять участие в ней. Значит, до другого раза».

– Ну, что же, – сказал Одар, – это лишь документальное подтверждение того, что было известно всему Петербургу...

– Скажите мне, что представляет собою эта Гюс? Любит она графа?

– О, нет! Она изменяет ему направо и налево, но устраивается так ловко, что поймать ее с поличным графу не удалось. Это не мешает графу изредка устраивать ей грубые сцены,

и вообще их совместная жизнь не блещет розами. Впрочем, сама Гюс не так уж виновата. Небо послало ей вместо матери жадное чудовище, которое толкает девушку в объятия всякого, способного щедро заплатить за это.

– Но какая же роль приходится во всем этом на долю маркиза де Бьевра?

– О, самая жалкая! Маркиз проповедует девице Гюс добродетель и ничего не видит, что делается у него под носом.

– И с такой негодницей Орлов обманывает меня! Я бы поняла любовь, страсть, увлечение... Я сама – человек и могу понять и простить многое... А тут... Но послушайте меня, Одар, и дайте мне совет. Я изложу вам весь ход моих мыслей, чтобы вы могли знать, в чем именно я колеблюсь!

Когда я увидела эти записки, я должна была собрать всю свою силу воли, чтобы не дать взрыву бешенства овладеть мной. Я притворилась, будто не верю подлинности записок, и приказала Дашковой через двое суток выехать за границу. Иначе я не могла поступить. Ведь я не знала, на что я решусь. А ведь если положение обманутого, но не верящего обману – смешно, то положение бессильного отомстить за обман человека – унижительно. И я стала думать...

Как больно мне было читать: «Государыня по счастливой случайности занемогла»! Но я призвала на помощь все свое хладнокровие, всю ясность своего ума и тогда увидела, что этим словам можно придать совсем другое толкование. Ведь Орлов радовался не моей болезни, а тому, что эта болезнь случилась именно в тот день, когда ему хотелось отдохнуть на свободе. Я знаю, что наши утонченные собрания тяготят Орловых – они с отроческих лет привыкли к диким, бесшабашным, истинно-русским увеселениям. Под моим влиянием они приобрели значительный внешний лоск. Но возможно ли, чтобы самое сильное влияние в корне переродило саму натуру человека?

Словом, рассуждая логически, я поняла, что всю эту историю нельзя принимать в том виде, в каком она может показаться с первого взгляда. Но нельзя было и махнуть на нее рукой. И я стала перебирать все средства и возможности выйти из создавшегося положения.

Продолжать умышленно закрывать глаза? Притвориться, будто я не верю в связь Орлова с этой распутницей? Нет, это совершенно невозможно! Если бы Гюс была скромной, любящей девушкой, я могла бы махнуть рукой на свои женские чувства, могла бы отнестись к этой истории лишь как государыня, которая не может мстить за женщину... Но при этих обстоятельствах... Нет, нет, это невозможно!

Покачать Орлова? Падением его влияния отомстить за нанесенное мне оскорбление? Но ведь оскорблена женщина, а государыня нуждается в Орлове. Ведь вы знаете, Одар, что политический горизонт не спокоен, что с минуты на минуту Восток может вспыхнуть военным пожаром! Орловы не хватают звезд с неба, но в них трон имеет серьезную опору. Так неужели из женской ревности нанести вред стране, быть может, пошатнуть трон?

Обрушиться на Гюс? Но ведь Екатерина-женщина не может ничего сделать ей, а благородно ли будет пользоваться в таком деле преимуществом положения? Да и против кого? Против какой-то распутницы, уличной девчонки? А кроме того, что я могу сделать ей? Выгнать ее из России? Никогда! Ведь это значило бы разгласить историю по всей Европе... О, для популярности Гюс это было бы отличным средством, но в каком жалком, смешном положении очутилась бы я сама!

Так вот каково положение, Одар: я должна что-нибудь сделать, и в то же время ничего сделать не могу. Помогите мне, дайте мне совет!

– Но, ваше величество, отделаться от Гюс так просто! – ответил Одар. – Как раз сегодня утром у меня был Сумароков. Он просил меня доложить вашему величеству в свободную минутку о контракте девицы Гюс. Контракт истек, и от воли договаривающихся сторон зависит возобновление его в шестимесячный срок. Сумароков сказал, что Гюс требует теперь двойного жалованья при пятилетнем сроке. От нас зависит не принять этих условий, выплатить госпоже

Гюс жалованье за полгода, как мы обязаны сделать в случае невозобновления контракта, да и пусть себе едет с Богом! Вот мы и избавились от нее!

– А если она не уедет?

– А что же она будет здесь делать, раз она останется без ангажемента?

– Поверьте, щедрость графа Григория для нее дороже всякого ангажемента... Да и все равно – это не годится, Одар, уедет ли она или останется. И в том, и в другом случаях отказ возобновить контракт будет истолкован мелкой ревностью, и эта развратница останется восторжествовавшей. Нет, вы поймите, чего я хочу, Одар: я хочу, чтобы и Гюс, и Орлов понесли заслуженное наказание, чтобы они были проучены, но чтобы при этом – я сама, как государыня, осталась в стороне. Вы – умный человек, Одар, и, если дадите себе труд подумать, изобретете какую-нибудь комедию, развязка которой даст то, что я хочу!

Одар задумался. Вдруг его лицо просветлело, и на губах появилась тонкая ироническая улыбка.

– Я придумал, ваше величество, – сказал он, – но для того, чтобы мой план удался, необходимо предоставить вопрос о контракте с Гюс всецело в мое распоряжение. Кроме того, мне нужна будет порука вашего величества, что граф Григорий не станет вымещать на мне свою злобу. Ну, и... некоторое количество золотых монет мне тоже понадобится...

– У вас будет все! – обрадованно воскликнула императрица, – только Бога ради не томите и расскажите, что вы придумали?

Одар сообщил государыне свой план. Екатерина, выслушав его, даже захлопала от восторга и попросила Одара не терять времени даром. Одар сейчас же отправился к Сумарокову и взял у него все бумаги, относившиеся к Адели. Вскоре после этого-то я и попал к нему. Как я уже говорил, Одар дал мне понять, что о продолжении контракта ему будет удобнее переговорить не со мной, а с мамашей Гюс. С этим я и вернулся домой.

Мы с Аделью были немало встревожены, зачем понадобилась Роза Одару, и, пока она ходила к секретарю государыни, мы на всякие лады пытались решить вопрос, в чем тут дело. Вероятнее всего было, что государыня узнала о шалостях своего Адониса, и Адели грозила какая-нибудь беда.

– Но почему же в таком случае Одар не мог сказать этого тебе? Почему он вызвал не меня, а мать? – недоумевала Адель.

И я должен был согласиться, что, очевидно, дело не так просто, как мы предполагали.

Эта неизвестность бесконечно угнетала нас.

Наконец пришла Роза. Она задыхалась, сопела, но сияла удовольствием.

– Ну и счастливица же ты, Адель! – затараторила она. – Уж так тебе везет, так везет... Конечно, с другой стороны, оно и нелегко: Орлов и много других... Да и Одар так некрасив... Но в Писании сказано: «Истязующий плоть, спасает душу», и...

– Не богохульствуйте! – с негодованием крикнул я, тогда как Адель смотрела на мать широко раскрытыми глазами.

– Да говори ты толком! – крикнула и она.

Роза тупо посмотрела на нас обоих по очереди и сказала, обращаясь к Адели:

– Нет, ты мне вот что скажи, дура-девка! Оказывается, ты, не спросясь меня, потребовала, чтобы в новом контракте тебе удвоили жалованье... Удвоили! Да ты скажи только, могла ли ты серьезно думать, что согласишься исполнить такое дурацкое требование?

Адель звонко расхохоталась.

– Помнишь, что нам сказала мадам Пижо, когда я покупала последнюю шляпу? Она сказала: «Я не слыхала, мадемуазель, чтобы человека посадили в тюрьму за то, что он высоко ценит свой труд!» В конце концов тут играет для меня роль лишь артистическое самолюбие, а само по себе это жалованье слишком незначительно в сравнении с тем, что я трачу... Так

что я охотно уступила бы, если бы вздумали торговаться. Но ты уж, наверное, слишком быстро пошла на уступки и все испортила!

– Да ничего похожего! – ответила Роза. – Меня то-то и удивляет, что готовы дать тебе требуемую прибавку!

– Да неужели? – радостно крикнула Адель. – Представляю, как позеленеют от зависти...

– Пстой, пстой, дочка! – благодушно остановила ее Роза. – Дело еще не сделано, и не следует делить шкуру еще не убитого медведя! Ее величество всецело предоставила вопрос о продлении твоего контракта и об увеличении гонорара решению Одара, ну, а ты сама знаешь, что этот господин ничего даром не делает!

– Так что же из этого? – презрительно кинула Адель. – Значит, этому господину надо сунуть что-нибудь? Ну, так возьми денег и ступай к нему хоть завтра же!

– Э, нет, дочка! То, что нужно Одару, можешь дать только ты, а никак уж не я! – ответила старуха.

Теперь мы поняли наконец, и бомба взорвалась. Адель побагровела, вскочила с кресла, и, призвав на помощь весь богатый арсенал парижских уличных ругательств, принялась осыпать ими мать. Роза спокойно слушала, ожидая, когда вдохновение Адели иссякнет.

– Ну, кончила наконец? – сказала она тогда. – А теперь ты мне вот что скажи: что тебя собственно так возмущает?

– Да ведь это – отвратительный, грязный урод!

– Те-те-те! До сих пор ты, кажется, обращала внимание на выгоду, а не на наружность!

– Да ведь мне приходится расплачиваться за свое же добро! Я сама создала себе артистический успех, подписание нового контракта является лишь следствием, лишь признанием моего таланта и успеха, и за это я еще должна расплачиваться такой ценой? Никогда!

– И из-за таких пустяков ты предпочтешь вернуться со срамом во Францию?

– Ну, это мы еще посмотрим! Мне стоит только сказать Орлову о домогательствах подлого пьемонтца, Григорий лично доложит ее величеству, и...

– И через двадцать четыре часа ты будешь мчаться по направлению к границе под строгим конвоем, тогда как Одар еще более утвердится в милости императрицы!

Адель даже рот разинула.

– Да ты совсем рехнулась, что ли? – злобно сказала она.

– А ты бы вместо того, чтобы драть горло, лучше спросила, почему именно государыня поручила этот вопрос Одару, а не директору театров, которого ангажемент артисток касается гораздо больше?

– В самом деле, почему?

– Вот то-то «почему»! Потому что государыня прослышала о шалостях графа Григория и вовсе не расположена терпеть около себя соперницу. Вот она и поручила расследовать это дело Одару. Если он найдет, что между тобой и графом что-нибудь есть, тогда тебя выгонят со скандалом, а если расследование не подтвердит доноса, то государыня рада удержать у себя хорошую артистку, отъезд которой подал бы вдобавок пищу сплетням, не основанным на действительном факте. Ну, а ты сама знаешь, какая тонкая штучка этот Одар. Оказывается, он уже давно вывел на свежую воду твои шашни с Орловым, и, когда я попробовала отпираться, он доказал мне такую осведомленность, что мне оставалось лишь замолчать. Только пока Одар еще ничего не сказал государыне, а его доклад будет зависеть от того, согласишься ли ты исполнить его желание или нет. Теперь ты подумай, что произойдет, если Орлов вздумает жаловаться государыне на Одара. Последний скажет, что хотел лишь проверить свои данные и что жалоба Орлова блестяще доказывает справедливость возведенного на фаворита обвинения!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.